

III. Климатический калейдоскоп

Сторителлинг

[76]

Нет ничего приятного в том, чтобы оказаться правым насчет конца света. Тем не менее люди тысячелетиями обсуждают неминуемый апокалипсис и извлекают новые уроки из каждого воображаемого сценария. Казалось бы, общество, чья культура пропитана апокалиптическими мотивами, должно уметь принимать новости о глобальных угрозах. Но вместо этого мы относимся к ученым, озвучивающим крики планеты о пощаде, как к паникерам. И пусть даже киноиндустрия всю эксплуатирует апокалиптические сюжеты, но, когда дело доходит до осознания реальных опасностей потепления, мы страдаем от жуткой нехватки воображения. Это и есть климатический калейдоскоп: нас может заморозить угроза, находящаяся прямо перед нами, но четко разглядеть мы ее не сможем.

Мы постоянно видим климатические угрозы на экранах (1), но внимание на них не фокусируется, как будто мы пытаемся вытеснить свои страхи глобального потепления, перенося их в среду, которую сами создаем и контролируем, – возможно, в надежде, что конец света останется лишь «фантазией». «Игра престолов» начинается с однозначного климатического пророчества и предупреждения, что «зима близко»; действие «Интерстеллар» происходит в условиях климатического бедствия – гибели урожаев. В фильме «Дитя человеческое» показана цивилизация в состоянии полураспада, вызванного кризисом рождаемости. «Безумный Макс: Дорога ярости» разворачивает панораму глобального потепления, но по сюжету политический кризис общества связан с дефицитом нефти. Главный герой «Последнего человека на Земле» остался в одиночестве в результате вируса, семья из «Тихого места» спасается от огромных насекомоподобных хищников, снующих в лесах, а главным событием сезона «Апокалипсис» сериала «Американская история ужасов» стала ядерная зима. В эпоху экологической тревожности многие фильмы про зомби однозначно показывают их как некую чужеродную, а не эндемическую силу. То есть зомби – это не мы с вами.

Почему нам так нравится смотреть на выдуманные апокалипсисы, когда миру угрожает вполне реальный? Одной из задач поп-культуры всегда было отвлечение внимания от происходящего выдуманными историями, пусть даже и увлекательными. Во времена каскадных климатических изменений Голливуд пытается осмыслить наши меняющиеся отношения с природой, от которой мы всегда старались держаться подальше – и которая

теперь, в разгар этих изменений, вернулась в виде непредсказуемой силы. И на определенном уровне мы понимаем, что сами в этом виноваты. Индустрия развлечений может помочь определить степень этой вины, раз уж законы и социальные нормы не справляются. Наша культура, впрочем, как и наши политики, склонна винить во всем других – в основном проецируя, а не принимая вину на себя. Существует и своего рода форма эмоциональной профилактики: в вымышленных историях о климатических катастрофах мы ищем катарсис и коллективно пытаемся убедить себя в том, что сможем его пережить.

Уже сейчас, в мире, потеплевшем на 1 °С, новости пестрят сообщениями о пожарах, жаре и ураганах, которые грозят ворваться в нашу повседневную жизнь с помощью каскадных эффектов. Совсем скоро нынешние предощущения конца света покажутся нам сравнительно наивными. Эсхатологические страхи расцветут буйным цветом, особенно в детских спальнях, где братья и сестры раньше шептались о смерти, о том, есть ли Бог и что делать, если его нет, или об угрозе ядерной войны; у их родителей климатическая травма тоже займет свое место в мировоззрении, и, как это часто бывает, на нее будут сваливать личные переживания и разочарования. А что произойдет при 2 или 3 °С? Скорее всего, по мере того как климат будет захватывать и омрачать наш быт и мир, эти проблемы найдут отражение в документалистике – до такой степени, что некоторые начнут считать климат единственной темой, достойной обсуждения.

В художественной литературе, поп-культуре и в том, что когда-то считалось «высокой культурой», само по себе возникает новое странное течение. В первую очередь это, наверное, возрождение старого жанра, известного как «Гибель Земли» (2), инициированного [77] английским поэтом Джорджем Байроном в стихотворении «Тьма», написанном после извержения вулкана в Ост-Индии, повлекшего наступление в Северном полушарии «Года без лета» [78]. В Викторианскую эпоху это экологическое беспокойство отразилось и в других художественных произведениях, например в романе Герберта Уэллса «Машина времени», описывающем далекое будущее, где большинство людей превратились в порабощенных троглодитов, работающих под землей на благо немногочисленной развращенной элиты на поверхности; в еще более далеком будущем почти вся жизнь на Земле исчезла. В нашу современную версию этого жанра можно было бы добавить невероятного масштаба скорбь – расцвет так называемого климатического экзистенциализма (3). Одна моя знакомая недавно описала книгу, над которой она работает, как нечто среднее между «Между миром и мной» [79] и «Дорогой» [80].

Масштаб глобальных трансформаций может так же быстро этот жанр и похоронить, сведя на нет все усилия по «нормализации» потепления, которое может стать слишком очевидным и всеобъемлющим даже для Голливуда. Истории про изменение климата можно рассказывать, пока оно остается маргинальной частью жизни или имеет большое значение лишь в жизни людей, которые маргинальны по отношению к нам. Но при трех или четырех градусах потепления едва ли кто-то сможет уберечься от последствий – или захочет увидеть на экране то, что и так происходит за окном. По мере того как изменения климата будут охватывать все – а уже сейчас кажется, что от них нигде не будет спасения, – из небылиц они превратятся в новую всеобъемлющую реальность. Вместо выдумки они станут тем, что теоретики называют «метанарративом» (4), заменив собой – подобно религии или вере в прогресс – культурные парадигмы предыдущих периодов. В этом мире люди

потеряют интерес к детективным драмам про нефть и корпорации; даже сюжеты ромкомов будут разворачиваться на фоне глобального потепления, подобно тому как тревожность общества в годы Великой депрессии породила волну легкомысленных комедий (5). Научная фантастика покажется еще более пророческой, но книги, наиболее зловеще описывавшие кризис, останутся непрочитанными, как сейчас «Джунгли»[81] или «Сестра Керри»[82]. Зачем читать о мире, который видишь из окна? Пока истории о глобальном потеплении еще могут доставить эскапистское удовольствие, пусть даже зачастую через страх. Но когда мы больше не сможем притворяться, что климатические страдания находятся где-то далеко от нас – во времени или пространстве, – мы будем держать лицо, уже испытывая эти страдания.

В своем объемном эссе «Великое заблуждение» индийский романист Амитав Гош удивляется тому (6), что глобальное потепление и природные катаклизмы еще не стали главной темой современной художественной литературы. Почему мы еще не научились адекватно представлять реальные климатические катастрофы, почему литература еще не сделала опасности потепления достаточно «реальными»? И почему еще пачками не выходят романы в новом жанре, который он считает наполовину состоявшимся и называет его «экологическим ужасиком»?

Другие называют его cli-fi[83]: жанровая литература об экологических рисках (7) – поучительные приключенческие истории, часто с назойливым политическим подтекстом. Но Гош замахнулся на нечто иное: великий роман о климате. «Некоторые сюжеты основаны на вопросах вроде „Где вы были во время падения Берлинской стены?“ или „Где вы были во время 9/11?“. Сможем ли мы когда-нибудь спросить: „Где вы были при 400 ч/млн?“ Или „Где вы были, когда обрушился ледник Ларсена?“»

И сам же отвечает: вероятно, нет, поскольку дилеммы и трагедии изменений климата попросту несовместимы с теми историями, которые мы придумываем про самих себя, особенно в традиционных романах (8), ведь они обычно заканчиваются на позитивной ноте и заостряют внимание на пути отдельной личности, а не проблемах общества. Это довольно узкое понимание романа, однако даже если в целом взять наше умение рассказывать истории, то мы увидим, что для того, чтобы осветить проблему изменения климата, у нас просто нет подходящих инструментов. Вопрос Гоша применим и к фильмам про супергероев, которые могли бы проиллюстрировать проблему глобального потепления. Какими будут новые герои? И что они будут делать? Возможно, это может объяснить, почему большинство фильмов, в которых пытаются поднять вопрос изменения климата, начиная с «Послезавтра», получаются такими педантичными и банальными: коллективная ответственность никому не интересна.

Проблема стоит еще острее в видеоиграх, которые сейчас пытаются выйти на один уровень с книгами, кино и телевидением, а то и вовсе заменить их. Сюжеты игр становятся все больше завязаны на действиях главного героя игры, то есть вас. В них по крайней мере обещается симуляция деятельности, и в скором будущем именно в них люди будут искать утешения, особенно если мы, словно зомби, продолжим идти по пути разрушения. Уже сейчас одна из самых популярных игр в мире, Fortnite, приглашает игроков участвовать в борьбе за ограниченные ресурсы во время экстремального погодного события[84] – как

будто эту проблему можно полностью решить своими силами.

Помимо проблемы с героем существует и проблема со злодеем. В классической художественной литературе не нашлось места для эпических сюжетов, происходящих в условиях изменения климата, но в пространстве жанровой прозы и киноблокбастеров у нас уже есть ряд готовых моделей, встроенных в повествования о супергероях и инопланетных вторжениях. Сюжеты в основном довольно простые и очень знакомые, на уровне «человек против природы» (9). Но «Моби Дик» или «Старик и море», как и многие менее известные произведения, рассматривают природу как метафору для божественных или метафизических сил, потому что сама природа была загадочной и непостижимой. С изменением климата это прошло. Теперь мы знаем, что такое экстремальная погода и стихийные бедствия, хотя все равно воспринимаем их как величественных буревестников: дальше будет хуже, и все это наших рук дело. Чтобы перезапустить «День независимости»[85] в жанре климатической фантастики, сценарий сильно переписывать не придется. Но с кем в таком случае будут сражаться герои вместо инопланетян? С самими собой?

Злодеев было легче описывать в историях про ядерный Армагеддон – интуитивную аналогию изменениям климата – сюжет, доминировавший в американской поп-культуре на протяжении целого поколения. Весь гротеск «Доктора Стрейнджлава» – в том, что судьба мира находится в руках нескольких безумцев; и если все взорвется, то мы будем точно знать, кто виноват. Прямолинейная мораль фильма не принадлежала исключительно Кубрику и даже не была проекцией его нигилизма, скорее, наоборот – там приводились общепринятые взгляды на геополитику, существовавшие на заре атомного века. Та же логика личной ответственности отражена в мемуарах Роберта Кеннеди «Тринадцать дней», посвященных Кубинскому ракетному кризису. Они стали популярны отчасти потому, что идеально совпадали с жизненным опытом их среднестатистического читателя в эти две недели 1962 года: все смотрели, как перспектива глобальной аннигиляции постепенно сходит на нет после длительных телефонных переговоров между двумя лидерами и их ближайшими помощниками.

Определить моральную ответственность за изменение климата гораздо сложнее. Глобальное потепление – это не событие, которое может произойти, если небольшая группа людей примет крайне недальновидные решения; это событие, которое уже происходит повсюду и без конкретных ответственных лиц. В теории у ядерного апокалипсиса может быть лишь несколько десятков авторов; у климатической катастрофы их миллиарды, и ответственность распределена во времени и пространстве по всей планете. При этом распределена она неравномерно: хотя окончательно масштаб изменений климата определится индустриализацией развивающихся стран, в настоящее время львиная доля вины лежит на самых благополучных: 10% самых богатых людей мира производят половину всех выбросов (10). Это неравномерное распределение ответственности хорошо коррелирует с глобальным неравенством доходов, и, наверное, поэтому многие левые политики обвиняют в происходящем промышленный капитализм (11). И не зря. Но мы не называем главного злодея; мы говорим о токсичном объекте инвестиций, в который вложилось большинство населения планеты, многие – с огромным энтузиазмом. И эти многие вполне довольны своим сегодняшним образом жизни. К этим «многим» можно

наверняка причислить меня, и вас, и всех остальных, кто прячется от реальности, покупая подписку на Netflix. Между тем страны с социалистическим строем вовсе не демонстрируют более ответственный подход к выбросам (12) – ни сейчас, ни в прошлом.

Но одним соучастием людей не расшевелить. Современным морализаторским произведениям нужны антагонисты (13), и без них точно будет не обойтись, когда распределение вины станет политической необходимостью – что непременно случится. Это проблема как для научно-популярной, так и для художественной литературы, они словно обмениваются сюжетами и энергией друг с другом. Закономерными злодеями считаются нефтяные компании, более того – недавний анализ фильмов про климатический апокалипсис показал (14), что многие из них на самом деле рассказывали о корпоративной жадности. Но нельзя так просто взять и обвинить их во всем – на долю транспорта и промышленности приходится менее 40% глобальных выбросов (15). Пожалуй, гораздо больше вреда со стороны корпораций приносят их кампании по дезинформации и отрицанию вины – трудно представить более гротескное проявление корпоративного зла. Вероятно, для будущих поколений такое поведение нефтяных компаний будет одним из самых отвратительных заговоров против человечества, происходивших в наше время. Но злонамеренность – это не то же самое, что ответственность, и климатический дениализм [86] захватил лишь одну политическую партию в США – в стране, в которой находятся всего две из десяти крупнейших нефтяных корпораций мира (16). Бездействие американцев определенно затормозило глобальный прогресс по климату, когда в мире была лишь одна сверхдержава. Но за пределами США, которые производят 15% глобальных выбросов (17), не встретишь такого климатического дениализма. И вера в то, что в глобальном потеплении виновата одна Республиканская партия с ее нефтяными спонсорами, – это просто еще одна разновидность американского нарциссизма.

Этот нарциссизм, вероятно, исчезнет под воздействием изменений климата. В остальных странах, где меры в отношении выбросов столь же медлительны и сопротивление реальным переменам в политике так же сильно, дениализм просто не представляет такой проблемы. Влияние корпораций на объемы использования ископаемого топлива, конечно, присутствует – равно как и инертность, и погоня за краткосрочной выгодой, и привычки потребителей, несущих свою часть ответственности за происходящее в диапазоне от осознанного эгоизма и невежества до рефлекторного, хотя и наивного, самоуспокоения. Как все это связать единым нарративом?

Отдельно от всего этого стоит вопрос наших взаимоотношений с природой (18). Долгое время он находился в рамках притч и аллегорий. Изменения климата перевернут с ног на голову все, что мы знаем о природе, в том числе и моральный аспект этих историй. Их до сих пор рассказывают людям всех возрастов, начиная от мультфильмов, которые смотрят дети, еще даже не выучившие алфавит, продолжая старинными сказками, фильмами-катастрофами, журнальными статьями о вымирающих видах и ежевечерними новостями об экстремальной погоде, в которых почти не упоминают потепления.

Притчи – это инструмент обучения, и они действуют на нас, словно диорамы в музеях естественной истории: мы проходим мимо них, смотрим и думаем, что экспозиции с чучелами животных должны нас чему-то научить – но только в качестве метафор, поскольку

мы не участвуем в событиях и не являемся частью представленной экспозиции, а находимся за ее пределами в качестве наблюдателей. Но глобальное потепление нарушает эту логику, поскольку оно сокращает разрыв между человеком и природой – между вами и диорамой. Изменение климата посылает нам четкий сигнал: вы находитесь внутри событий, а не снаружи и подвержены воздействию тех же ужасов, что и животные. На самом деле уже сейчас потепление так сильно ударило по людям, что нам не нужно выискивать отдельные вымирающие виды (19) или разрушенные экосистемы, чтобы осознать динамику климатического наступления. Но мы именно так и делаем, сопереживая лишившимся дома полярным медведям или погибающим коралловым рифам. Из всех климатических сказок нам больше всего нравятся те, в которых участвуют животные, что немы без нашего голоса, что погибают от наших же рук. По оценкам Эдварда Уилсона, половина всех видов животных вымрет к 2100 году. Даже с учетом того, что изменение климата непосредственно угрожает жизни человека, мы все равно беспокоимся о животных, отчасти из-за явления, которое Джон Рёскин[87] назвал антропоморфизмом: нам почему-то проще сопереживать им, и, вместо того чтобы осознать нашу ответственность за происходящее, мы предпочтем разделить с ними их страдания, пусть и ненадолго. Перед лицом катастрофы, вызванной самим человеком, которую мы продолжаем провоцировать каждый день, нам гораздо удобнее отдалиться выученной беспомощности.

«Пластиковая» паника – еще один пример климатической притчи, во многом направляющей нас по ложному следу. Эта паника возникает из оправданного желания оставить меньше загрязнений на планете и естественного страха перед тем, что окружающая среда засорена пластиковой пылью, которая содержится в нашем воздухе, пище и в наших телах, – таким образом, этот страх основан на современной одержимости вопросами гигиены и здорового питания как разновидности потребительской добродетели (так уже было с вопросом переработки мусора). Пластик, конечно, оставляет свой углеродный след, но пластиковое загрязнение не относится к проблеме глобального потепления – и тем не менее оно проскользнуло в центр нашего внимания, по крайней мере на короткое время. Запрет на пластиковые соломинки, пусть и ненадолго, затмил собой гораздо более масштабную проблему климатической угрозы.

Массовое вымирание пчел – еще одна такая притча (20). В 2006 году любознательные читатели впервые узнали о новой экологической перипетии. Тогда в США почти ежегодно стали массово вымирать колонии медоносных пчел – 36% в один год, 29% на следующий, 46% еще через год и 34% еще через год. Любой, кто умеет пользоваться калькулятором, поймет, что здесь что-то не так: если каждый год погибало такое количество пчел, то их численность должна стремительно приближаться к нулю, а не стабильно нарастать, как это происходило в реальности. Причина заключается в том, что пчеловоды, большинство из которых – не отдельные пасечники-любители, а фермеры с большими хозяйствами, за определенную плату развозят своих пчел по всей стране для поддержания бесконечного цикла опыления, после чего заново разводят пчел каждый год, компенсируя вымирание новыми ульями, расходы на которые с избытком покрываются прибылью промышленных масштабов.

Для нас вполне естественно, так сказать, «очеловечивать» животных – например, на этом построена вся индустрия мультипликации. Но есть какая-то странность, даже некий

фатализм в том, что столь эгоистичные создания, как люди, любят отождествлять себя с существами, у которых совершенно отсутствует свободная воля и способность принимать самостоятельные решения – например, ученые не знают, надо ли рассматривать как организм отдельную пчелу или всю колонию. Когда я сам писал в СМИ о вымирании колоний, любители пчел говорили мне, что причиной их беспокойства за судьбу отдельных особей была судьба великой пчелиной цивилизации в целом. Но я не мог избавиться от мысли, что, возможно, та сила, которая придала коллапсу колоний характер легенды, отражала почти противоположное явление – полное бессилие людей перед лицом неизбежного суицида цивилизации. В конце концов, дело ведь не только в пчелах: мы видим предзнаменования гибели нашего мира, например, во внезапных вспышках Эболы, птичьего гриппа и других эпидемиях; в гипотетическом восстании машин; в ИГИЛ, Китае или военных учениях Jade Helm в Техасе[88]; в неконтролируемой инфляции (которая, кстати, так и не произошла после количественного смягчения[89]) или в золотой лихорадке (которая как раз произошла[90]). Мы открываем на «Википедии» статью о пчелах не для того, чтобы почитать об угрозе конца света. Но чем больше читаешь о вымирании колоний пчел, тем больше понимаешь, что интернет – это нечто вроде волшебного зеркала, посредством которого мы предугадываем конец света.

Как оказалось, в гибели пчел не было ничего таинственного, поскольку она полностью объяснялась внешними факторами: пчелы контактировали с новым пестицидами – неоникотиноидами, которые, как следует из названия, в сущности, превращали пчел в заядлых курильщиков. Да, летающие насекомые могут погибать из-за потепления (21) – в недавнем исследовании было сделано предположение о том, что 75% уже вымерли, приблизив нас к полному прекращению опыления, которое исследователи назвали «экологическим Армагеддоном», – но колонии пчел не имеют к этому никакого отношения. И тем не менее даже в 2018 году в журналах печатали большие статьи, посвященные «легенде о пчелах» (22). И, наверное, не потому, что людям нравилось это заблуждение по поводу пчел, а потому, что воспринимать кризис на уровне аллегории очень удобно – как будто мы изолировали проблему внутри истории, чей смысл мы сами же и контролируем.

Когда в 1989 году Билл Маккиббен[91] объявил о «конце природы», он задал нам всем гиперболическую задачу из области эпистемологии: как назвать ситуацию, когда природа и погода, животные и растения до такой степени изменятся из-за активности человека, что их уже нельзя будет назвать «естественными»?

Ответ пришел спустя десять лет с появлением термина «антропоцен», пронизанного духом экологической паники и намекающего, что ситуация будет гораздо более тяжелой и нестабильной, чем просто «конец». Экологи, любители природы, натуралисты и прочие романтики – все они будут оплакивать смерть природы. Но миллиарды людей вскоре столкнутся с теми ужасами, которые принесет антропоцен. Во многих местах мира эти ужасы уже происходят, например в виде экстремальной, почти круглогодичной жары на Ближнем Востоке и в Южной Азии и в виде постоянной угрозы наводнений вроде тех, что произошли в Керале в 2018 году[92] и унесли сотни жизней. Об этих наводнениях едва упоминали в США и Европе, где потребителей новостей десятилетиями учили видеть подобные события как трагические, но неизбежные в условиях недостаточного развития, а потому «естественные» и далекие.

Пришествие климатических страданий такого масштаба в страны Запада станет одним из великих и ужасных нарративов грядущих десятилетий. Мы, живущие в этих странах, привыкли считать, что наш современный мир полностью победил природу, возводя один за другим заводы и супермаркеты. Сторонники солнечной геоинженерии в дальнейшем хотят перейти к освоению неба, и не просто чтобы стабилизировать температуру на планете, а возможно, чтобы создавать «дизайнерский климат» под локальные потребности (23): спасти конкретную рифовую экосистему или сохранить хлеботородный район. В теории климат можно будет установить в микромасштабе, вплоть до отдельных ферм, стадионов или курортов.

Эти свершения, если они когда-то и станут возможными, отстоят от нас по меньшей мере на десятилетия. Но даже краткосрочные и кажущиеся обычными проекты могут оставить неизгладимый отпечаток на нашем мире. В XIX веке масштабное строительство в самых развитых странах определялось прерогативами промышленности – например, прокладка железнодорожных путей через целые континенты для вывоза угля. В XX веке повестку дня уже диктовал капитал – взять, к примеру, глобальную урбанизацию, согнавшую людей в города для работы в новой отрасли экономики – сфере услуг. А в XXI веке нам придется учитывать влияние климата: строить стены на побережьях, плантации по сбору углерода, солнечные фермы размером с целые штаты. И отчуждение собственности под эти цели в рамках защиты от климата уже не покажется крайней мерой, хотя, разумеется, протесты будут – даже во времена климатического кризиса прогрессивные горожане напомнят, что их хата с краю.

Мы уже живем в условиях изменившейся окружающей среды, и изменилась она весьма заметно. В славном XX веке Соединенные Штаты построили два райских уголка: во Флориде, прямо на болотах, и на юге Калифорнии, в пустыне. Но к 2100 году эти места перестанут быть открыточным раем на земле.

Своим влиянием мы до такой степени изменили природу, что завершили целую геологическую эпоху – и это главный урок антропоцена. Масштабы этих преобразований до сих пор удивляют даже тех, кто среди них вырос и принимал как должное все связанные с ними выгоды. Только за период с 1992 по 2015 год люди преобразовали 22% поверхности всей суши на планете. В весовом измерении 96% всех млекопитающих (24) – это люди и их домашний скот; диких всего 4%. Мы вытеснили – затерроризировали и уничтожили – все остальные виды животных; многие находятся на грани вымирания или уже исчезли. Эдвард Уилсон считает, что нашей эпохе больше подходит название «эремоцен» – век одиночества (25).

Глобальное потепление несет в себе и более пугающую правду: мы вовсе не победили природу. Не было никакого окончательного завоевания и доминирования. Напротив, независимо от того, что произойдет с животными, запустив глобальное потепление, мы неосознанно стали владельцами системы, которую практически не можем приручить или контролировать. Более того, из-за нашей безостановочной деятельности система все больше выходит из-под контроля. Природа одновременно закончилась (ушла в прошлое) и продолжает окружать нас со всех сторон, нанося страшные удары, от которых нет защиты, – и в этом главный урок изменения климата, урок, который нам преподается почти каждый

день. И если глобальное потепление продолжится примерно теми же темпами, что и сейчас, то из-за него изменится почти вся наша жизнь, от сельского хозяйства и миграции до бизнеса и психического здоровья; изменится наше отношение не только к природе, но и к политике с историей, и установится система знаний, настолько же всеобъемлющая, как понятие «современность».

Ученые давно это предвидели. Однако крайне редко позволяли себе такой тон. На протяжении последних десятилетий среди тех, кто изучает изменение климата, «алармизм» считался чуть ли не самым позорным явлением. Обеспокоенным гражданам это отношение казалось немного странным; например, мы же не слышим от специалистов по здравоохранению о необходимости осторожнее описывать риски канцерогенов. Джеймс Хансен[93], который первым выступил перед Конгрессом на тему глобального потепления в 1988 году, назвал это феноменом «научной скрытности» (26); в 2007 году он жестко критиковал своих коллег за слишком тщательное редактирование их же собственных исследований, из-за чего они не смогли показать миру, насколько серьезной является угроза на самом деле. Со временем тенденция дала метастазы: по мере того как прогнозы исследователей становились все мрачнее и мрачнее, любая крупная публикация сопровождалась тучей комментариев о манере изложения и точности прогноза; многие статьи воспринимались как несбалансированные и недостаточно оптимистичные, и их обвиняли в фатализме. Некоторые публикации обзывали «климатическим порно».

Термины весьма скользкие, как и любое хорошее оскорбление, но они нужны, чтобы обозначить пределы «разумных» взглядов на климат. Научная скрытность – еще одна причина, по которой мы не можем разглядеть угрозу достаточно четко. Эксперты усиленно посылают сигналы, что открыто говорить о более тревожных перспективах глобального потепления крайне безответственно, как будто они не готовы доверить миру информацию, которой сами обладают, или как минимум не верят, что общество сможет ее корректно интерпретировать и отреагировать. И тем не менее прошло уже тридцать лет с момента выступления Хансена и создания МГЭИК, а интерес к изменению климата переживал взлеты и падения, но ни разу не поднимался на вершину внимания. Что касается общественного резонанса, то тут результаты еще печальнее. В Соединенных Штатах климатический дениализм поразил одну из двух существующих политических партий и наложил вето на серьезные изменения в законодательстве. За рубежом проходят конференции высокого уровня, заключаются соглашения и подписываются протоколы, но все это выглядит как эпизодические гастроли климатического театра. Выбросы как росли, так и продолжают расти.

Но научная скрытность вполне объяснима; ее можно представить в виде реки риторики со множеством притоков. Первый приток имеет отношение к темпераменту: климатологи – в первую очередь ученые, выбравшие этот жизненный путь и обученные проницательности. Второй приток – эмпирический: многие из них, особенно в США (и уже очень давно), перестали бороться с силами климатического дениализма, которые трактуют любое преувеличение или неверный прогноз как доказательство нелегитимности или нечестности. Климатологи ведут себя осторожно, что вполне понятно. К сожалению, страх показаться излишне тревожными вызывает еще большую тревогу, и эта боязнь стала их профессиональным принципом, превратившись в конечном итоге в самоуспокоение.

В научной скрытности есть и некая политически ретроградная мудрость, проявляющаяся в том, чтобы скрыть от широкой публики самые пугающие выводы исследований. Будучи участниками группы единомышленников, ученые видят, как их коллеги и соратники проходят через душевные терзания и впадают в отчаяние от перспектив изменения климата и того, как мало делает мир для борьбы с этой напастью. В результате они стали бояться выгорания и вероятности того, что честные разговоры о климате могут повергнуть общество в такое уныние, что все попытки предотвратить кризис сойдут на нет. Все это напоминает о принципах социологии, согласно которым «надежда» мотивирует сильнее, чем «страх», – не признавая того, что озабоченность не тождественна фатализму, что надежда не подразумевает замалчивания о трудностях и что страх тоже может мотивировать. Об этом написал журнал Nature в 2017 году (27), изучив широкий круг академической литературы: несмотря на твердый консенсус среди климатологов в отношении «надежды» и «страха», а также того, что стоит считать ответственным донесением информации, не существует единого оптимального способа рассказывать об изменении климата; ни один подход не даст гарантированного успеха у какой-либо аудитории, и ни один не стоит считать слишком опасным. Работают те истории, которые оставляют след.

В 2018 году ученых начал охватывать страх, что проявилось в паническом, тревожном отчете МГЭИК, иллюстрировавшем, насколько хуже будет климат при 2 °С по сравнению с 1,5 °С (28): угроза смертельной жары для новых десятков миллионов, нехватка воды и наводнения[94]. Исследование, обобщенное в отчете, было не новым, и подъем температуры больше чем на 2 °С даже не рассматривался. И, хотя отчет не затрагивал ни одной из жутких перспектив потепления, он дал ученым разрешение, карт-бланш на выражение своего мнения. Новым был сам посыл: «Всё, теперь можно паниковать». После этого трудно представить что-то кроме новой волны паники, исходящей от ученых, которым наконец-то позволили кричать во весь голос.

Первоначальная осторожность вполне понятна. Ученые десятилетиями представляли обществу неоспоримые данные, показывая каждому, кто был готов их выслушать, какой кризис ожидает планету, если ничего не предпринимать, но год за годом наблюдали, как все сидят сложа руки. Неудивительно, что они вновь и вновь проводят совещания с пресс-службами, раздумывая, какую бы риторику и стратегию коммуникации было бы правильнее выбрать. Если бы бразды правления оказались в их руках, они бы точно знали, что делать, и паники можно было бы избежать. Почему же их никто не слушает? Возможно, все дело в риторике. Какие еще могут быть причины?

Кризисный капитализм

Массив когнитивных искажений (29), выявленный бихевиористами и примкнувшими к ним коллегами за последние полстолетия, практически бесконечен, подобно потоку постов в социальных сетях, и каждое отклонение искажает и разжижает наше восприятие меняющегося климата – угрозы столь же неминуемой и близкой, как приближение хищника, но всегда рассматриваемой через искажающий перспективу хрупкий стеклянный колпак.

В психологии существует понятие привязки; оно объясняет, как мы строим модели мышления вокруг одного или нескольких начальных примеров, пусть даже совершенно не показательных, – в случае с глобальным потеплением это известный нам мир, состояние которого нам кажется умеренно стабильным. Существует также эффект неопределенности, предполагающий, что людям настолько некомфортно находиться в состоянии неопределенности, что они готовы согласиться на менее выгодный для себя результат, лишь бы не иметь с ней дела. В теории, если речь о климате, неопределенность должна становиться мотивацией к действию и – поскольку неясность возникает из разнообразия человеческих факторов – вполне конкретным указанием, но мы почему-то склонны воспринимать его как некую обескураживающую загадку.

Добавим сюда антропоцентрическое мышление – с помощью него мы выстраиваем наше мировоззрение на основе личного опыта – рефлексивную тенденцию, которую отдельные особо циничные экологи называли «превосходством человека» и которая, безусловно, формирует нашу способность осознавать экзистенциальные угрозы нашему виду. По этому поводу многие климатологи мрачно шутят: «Планета выживет, а вот человечество – вряд ли».

Существует еще предвзятость автоматизации, подразумевающая, что приоритет в принятии решений отдается компьютерам и другой технике и эта предвзятость выражается в нашем уважении к рыночной системе как к некоему непогрешимому или как минимум непобедимому явлению. В случае с климатом она превращается в веру, что экономическая система, не сдерживаемая запретами и ограничениями, сама по себе решит проблему глобального потепления, так же как она должна была решить проблемы загрязнения, неравенства, несправедливости и войн.

И это только самое начало списка когнитивных искажений – и крошечная его часть. Рассмотрим ряд других разрушительных эффектов из словаря поведенческой экономики: эффект постороннего, или наше ожидание того, что действовать начнут другие, а не мы сами; предвзятость подтверждения, когда мы ищем доказательства того, в истинности чего мы уже и так не сомневаемся, например, мы верим, что люди не вымрут, вместо того чтобы взять на себя груз осознания необходимости изменений в нашем мире; страх перемен, когда мы выбираем текущее положение дел вместо альтернативы, что связано с эффектом статус-кво, то есть желанием сохранить существующий порядок вещей, каким бы скверным он ни был, и эффектом владения, подсознательным стремлением преувеличивать ценность того, чем мы владеем в настоящий момент. Не забудем и об иллюзии контроля, а также о сверхуверенности и предвзятости оптимизма. Нам присуща и предвзятость пессимизма, не то чтобы она, правда, как-то уравнивала ситуацию – вместо этого она вынуждает нас видеть в трудностях неизбежные провалы и воспринимать предостережения (особенно в случае с климатом) как крики обреченности. Иными словами, противоположностью когнитивных предубеждений является не здравый смысл, а другие когнитивные предубеждения. Мы смотрим на все через катаракту самообмана.

Многие из этих определений кажутся интуитивно понятными и знакомыми на уровне народной мудрости – они просто изложены академическим языком. Поведенческая экономика своей необычностью бросает вызов устоявшимся представлениям – конкретно

рациональности человеческого поведения, – в которые, наверное, когда-то истинно верили только ее сторонники, и то лишь будучи студентами экономических факультетов. Но в целом эту область не стоит воспринимать как исключительно ревизию существующей экономики. Она представляет собой всепроникающее противоречие основным догматам родительской дисциплины, да и вообще всему образу современного Запада как рациональной системы, который возник – какое совпадение! – на заре индустриального периода. По сути, это представление о человеческой логике как о несуразном нагромождении одновременно крайнего эгоизма и пораженчества, весьма эффективных в отношении одних вещей и безумно неадекватных в отношении других; несовершенной, ошибочной и разрозненной. Как нам вообще удалось отправить человека на Луну?

Понимание изменений климата требует экспертных знаний и доверия этим знаниям, но, по иронии судьбы, как раз к моменту их появления доверие публики к экспертам исчезло. И то, что изменение климата затрагивает все эти предубеждения, – не совпадение, не странность и не аномалия. Это признак масштаба изменений и их влияния на разные аспекты человеческой жизни, то есть практически на все.

Вот мы и дошли до масштаба климатических угроз (30). Он настолько огромен и представляет такую угрозу, что мы рефлекторно отводим от него глаза, словно взглянув на солнце.

Любой, кто участвовал в студенческих дебатах о капитализме, знает, что большой масштаб проблемы оправдывает бессилие перед ее лицом. Размер проблемы, ее всеобъемлющее воздействие, кажущееся отсутствие готовых альтернатив, соблазн косвенных выгод – на всем этом десятилетиями строились аргументы, направленные на подсознание недовольных профессионалов среднего класса богатого Запада, которые в какой-нибудь параллельной реальности могли стать интеллектуальным авангардом в борьбе против бесконечного роста финансового сектора и бесконтрольности рынков. «Проще вообразить конец света, чем конец капитализма», – писал литературный критик Фредерик Джеймсон, ловко приписывая авторство данного высказывания «кому-то», кто «однажды это сказал» (31). Этот «кто-то» сегодня мог бы спросить: «Зачем выбирать что-то одно?»

Когда речь заходит о власти и ответственности, масштабы и перспективы нас зачастую озадачивают – мы не знаем, какой будет следующая кукла внутри матрешки или на чьей полке все они стоят. Большие процессы делают нас маленькими и бессильными, даже если формально мы ими «управляем». По крайней мере, в наши дни существует тенденция рассматривать крупные системы, такие как интернет и индустриальная экономика, как еще более непостижимые и недостижимые, чем климат, буквально окружающий нас со всех сторон. Поэтому модернизированный капитализм, ответственно относящийся к ископаемому топливу, представляется менее реализуемым, чем выброс в атмосферу диоксида серы, который выкрасит небо в красный цвет и охладит планету на градус-другой. Некоторым даже отказ от триллионных субсидий на ископаемые виды топлива кажется менее реалистичным, чем создание технологий по сбору углерода из атмосферы Земли.

Это своего рода проблема Франкенштейна, связанная с широко распространенным страхом искусственного интеллекта: мы больше боимся тех монстров, которых создаем сами, чем

тех, что приходят извне. Сидя за компьютерами в кондиционируемых офисах, читая статьи из раздела научных новостей, мы вопреки всякой логике считаем, что природа нам подвластна; мы думаем, что при желании сможем защитить тот или иной исчезающий вид и сохранить его среду обитания; нам кажется, что мы сможем разумно распорядиться обилием водных ресурсов, а не растратить их впустую – опять же, если захотим. Однако мы не испытываем таких эмоций в отношении интернета, который кажется нам неконтролируемым, хотя мы сами его придумали и создали; и в отношении глобального потепления, которое мы продлеваем своими действиями каждый день, каждую минуту. И наше восприятие масштаба рыночного капитализма препятствовало его критике уже как минимум на протяжении поколения, когда даже те, кто привык к его провалам, утверждали, что он слишком велик, чтобы обанкротиться.

В длинной тени финансового кризиса, под сгущающимися тучами глобального потепления так уже не кажется. Тем не менее, возможно, отчасти потому, что мы видим, как четко тенденции глобального потепления укладываются в существующие и хорошо знакомые воззрения эпохи капитализма – от радикально настроенных левых и наивно-оптимистичных и недалеких технократов до алчных, вороватых и зацикленных на экономическом росте консерваторов, – мы склонны считать, что климат каким-то образом является частью капитализма или подчиняется ему. Но, по сути, он ему угрожает.

Мнение, что западный капитализм обязан своим существованием энергии ископаемого топлива, не является общепринятым фактом среди экономистов, но это и не просто теория левых социалистов (32). Эта идея стала главным мотивом книги «Великое расхождение» американского историка Кеннета Померанца, возможно единственного широко известного описания того, каким образом Европа, долгое время, по сути, бывшая провинцией по отношению к империям Китая, Индии и Ближнего Востока, сумела в XIX веке так сильно дистанцироваться от остального мира. На главный вопрос «Почему именно Европа?» в книге дан простой ответ из одного слова: уголь.

История промышленности, сокращенная до масштаба «капитализма ископаемых» (с идеей, что наша экономика – это система, основанная на ископаемом топливе), отчасти весьма убедительна, но она не представляет полной картины; существуют и другие факторы, помимо сжигания нефти, благодаря которым мы можем принимать отдел йогуртов в супермаркете как должное (хотя, возможно, их не так много, как вам кажется). С точки зрения того, как тесно остаются взаимосвязаны эти две силы и как судьба одной определяет судьбу другой, термин может оказаться очень полезным. И он порождает вопрос, который часть левых уже считает риторическим: «Переживет ли капитализм изменение климата?» (33)

Вопрос неоднозначный, и ответы на него различаются в зависимости от положения отвечающего в политическом спектре, которое, вероятно, и определяет то, что вы понимаете под «капитализмом». Глобальное потепление может способствовать зарождающимся формам эосоциализма на одном конце спектра, а на противоположном – уничтожать веру во все, кроме свободного рынка. Торговля, безусловно, выстоит, возможно, даже будет процветать, как это происходило и до капитализма – люди заключали сделки и менялись вещами задолго до появления тотальной системы контроля этих процессов.

Жажда наживы тоже никуда не денется, как и те, кто постарается подмять под себя немногие оставшиеся выгоды, – в мире с дефицитом ресурсов, в мире, страдающем по исчезнувшему изобилию, такая мотивация всегда будет расти.

Последнее более-менее соответствует тому, о чем писала Наоми Кляйн[95] в своей книге «Доктрина шока» (34), где она документирует незыблемую реакцию сил капитала на любой кризис – они всегда требуют предоставить себе больше полномочий, пространства и автономности. Реакция финансового сектора на климатические бедствия – не главная тема книги, в основном она посвящена политическому коллапсу и кризису технократии. Но «Доктрина шока» дает ясное понимание того, как себя поведет мировая финансовая элита в период экологического кризиса. В качестве недавнего примера Кляйн рассмотрела остров Пуэрто-Рико (35), до сих пор не восстановившийся после урагана «Мария» и примечательный не только тем, что ему не повезло оказаться на пути спровоцированных изменением климата ураганов. Этот остров активно производит «чистую» энергию, но тем не менее импортирует всю свою нефть; это сельскохозяйственный рай, но всю еду ему тоже приходится завозить в страну. И то и другое поставляется из материковой квазиметрополии, которая видит в острове лишь очередной рынок сбыта. Метрополия полностью подавила всю власть на острове, вплоть до энергокомпании, и назначила совет акционеров, чей интерес состоит лишь в сборе долговых выплат.

Пожалуй, трудно найти более яркий пример имперского капитализма во времена меняющегося климата. Но теперь появился конкретный пример его последствий. В 2017 году, сразу после урагана, Соломон Сианг и Тревор Хаузер подсчитали, что «Мария» может сократить доходы Пуэрто-Рико на 21% в течение следующих 15 лет (36) и экономике острова может понадобиться 26 лет для возвращения на прежний уровень – а он, напоминает Кляйн, и так был невысоким. Однако за бедствием не последовало ни резкого увеличения социальных затрат, ни карибской версии плана Маршалла; вместо этого Дональд Трамп кинул несколько рулонов бумажных полотенец жителям Сан-Хуана и оставил их уповать на милость чужаков, распределяющих гуманитарную помощь, – и милости этой не дожидаться. Последствия финансового кризиса заметны здесь невооруженным глазом, говорят Сианг и Хаузер, предполагая, что кризисы такого рода могут стать лучшей концептуальной моделью для климатических катастроф. «Для Пуэрто-Рико, – пишут они, – экономические потери от урагана „Мария“ могут быть такими же, как для Индонезии и Таиланда от азиатского финансового кризиса 1997 года, и вдвое большими, чем для Мексики от кризиса песо в 1994 году».

Насколько устойчивой окажется доктрина шока в эпоху нового типа климата, атакующего экономики всего мира экстремальной погодой и стихийными бедствиями с невиданной частотой и – в сокращающийся промежуток между ураганами, потопами, жарой и засухами – угрожающего уничтожить урожаи и изувечить рабочую силу? Этот вопрос остается открытым, как и все другие, связанные с реакцией человека на глобальное потепление в настоящем и будущем. Однако и здесь то же самое – даже относительно небольшие поправки в основополагающую ориентацию Запада на бизнес и финансовый капитализм вызовут большие потрясения, поскольку сама эта ориентация определяет коллективное ощущение того, что приемлемо, а что недопустимо.

Есть шанс, что борьба за снижающиеся прибыли со стороны власть имущих только усилится и власть капитала укрепится еще сильнее; такой вариант можно спрогнозировать, исходя из событий последних десятилетий. Но за эти десятилетия капитализм успешно использовал обещание стремительного роста в качестве своего пиар-козыря. На самом деле, несмотря на все многочисленные и даже конфликтующие вариации рыночной экономики, это обещание служило чем-то вроде основы мировой идеологии по крайней мере с 1989 года – и не случайно углеродные выбросы рванули вверх с окончанием холодной войны (37).

Изменение климата ускорит два тренда, уже ставящих обещание экономического роста под вопрос. Во-первых, оно спровоцирует глобальную экономическую стагнацию, которая в отдельных регионах проявится как перманентная рецессия; во-вторых, ударит по бедным в гораздо большей степени, чем по богатым, как глобально, так и в отдельных странах, усиливая стремительно растущую разницу в доходах, которая будет вызывать возмущение у всё большего количества людей. В будущем, управляемом этими двумя силами, к самым богатым людям мира, в настоящее время присвоившим себе монополию и на социальную власть, появится, мягко говоря, очень много вопросов.

И что же они ответят? За исключением социального дарвинизма, трактующего неравенство как «честный» исход и активно продвигаемого богатейшим процентом населения планеты, силам капитала, пожалуй, будет нечего предъявить в свою защиту. Рынок уже много лет оправдывает неравенство наличием «возможностей» и, словно мантру, повторяет слова о новой эре процветания, где всем будет хорошо. Пожалуй, в этом подходе всегда было больше пропаганды, чем правды. После мирового экономического кризиса и последовавшего за ним вопиюще неравного восстановления стало совершенно ясно, что в самых развитых капиталистических странах почти вся прибыль достается самым богатым и это длится уже несколько десятилетий. То, что один этот факт отражает кризис всей системы, понятно не только по волне бушующего популизма, со стороны как правых, так и левых охватившего Европу и США в годы после кризиса, но и по скептицизму и острой неуверенности, исходящим с самых высоких уровней свободного рынка. Например, Международный валютный фонд в 2016 году опубликовал статью с заголовком «Неолиберализм переоценен?» (38). А Пол Ромер, позже работавший экономистом во Всемирном банке, высказал идею о том, что макроэкономика, «наука капитализма», является чем-то вроде красивой фантазии, наподобие теории струн, и что она уже неспособна адекватно описывать устройство реальной экономики. В 2018 году Ромер получил Нобелевскую премию. Он разделил ее с Уильямом Нордхаусом, пионером изучения воздействия меняющегося климата на экономику. Будучи экономистом, Нордхаус одобряет углеродный налог, но невысокий – его «оптимальный» углеродный побор все равно допускает потепление на 3,5 °C (39).

В настоящее время воздействие изменений климата на экономику относительно невысоко: в 2017-м США оценили его в 306 миллиардов долларов (40). Но это только начало. Если в прошлом обещания экономического роста служили оправданием неравенства, несправедливости и эксплуатации, то в ближайшем будущем раздатчикам таких обещаний придется залечивать множество новых ран: бедствия, засухи, голод, война, беженцы и связанные с ними политические потрясения будут множиться. Изменение климата не обещает почти никакого глобального роста; в тех местах, где оно ударит сильнее всего,

будет только падение.

В значительной степени наша вера в устойчивость человечества перед такими угрозами стала следствием нескольких столетий промышленного процветания, основанного на эксплуатации ископаемого топлива. Средневековые правители не верили, что расширение владений поможет им справиться с чумой или голодом, а те, кто жил в тени Кракатау[96] или Везувия, не испытывали иллюзий насчет того, что им удастся спастись. Но снижение уровня ожиданий от будущего может оказаться важнее уменьшающегося благосостояния в настоящем. Если ваше понимание «капитализма» состоит из веры не только в свободный рынок, но и в свободную торговлю как основу справедливой (и даже идеальной) социальной системы, вам как минимум стоит подготовиться к масштабным изменениям. Напомню, прогнозы предрекают нам колоссальные экономические потери – 551 триллион долларов убытков (41) при всего 3,7 °C потепления и потерю к 2100 году 23% глобального дохода при текущем сценарии развития событий (42). И это будет значительно хуже Великой депрессии – это будет в десять раз хуже мирового экономического кризиса, который до сих пор дает о себе знать. И это не будет временным явлением. Сложно представить систему, которая переживет подобный спад и уцелеет, какой бы «масштабной» она ни была.

Если капитализм выживет, то кто за это заплатит?

Уже сейчас суды в США завалены исками, связанными с климатическими убытками, – смелый ход, учитывая, что большинство из последствий, по которым предъявляются претензии, еще не наступили. Наиболее значительными из них являются иски со стороны честолюбивых генпрокуроров по правонарушениям нефтяных компаний – в основном из области здравоохранения, выдвинутые обществом или от имени общества против компаний, замеченных в распространении дезинформации или политическом лоббизме. Это первый вектор климатической ответственности – он направлен против компаний-выгодополучателей.

Другой тип обвинений отражен в иске «Джулиана против Соединенных Штатов», известном также как «Дети против климата», довольно оригинальном по своей сути: этот иск предполагает, что бездействие в отношении глобального потепления со стороны федерального правительства перекладывает многолетний ущерб, нанесенный экологии, на современную молодежь – позиция, высказанная группой несовершеннолетних от имени своего поколения и тех, кто придет за ними, направленная против правительств, за которые голосовали их родители и дедушки с бабушками. Это второй вектор климатической ответственности: против поколений-выгодополучателей.

Но также существует третий вектор – и ему еще предстоит вызвать прения в обстановке поформальнее даже той, в которой обсуждались Парижские соглашения: против народов, которые обогатились на сжигании ископаемого топлива, в отдельных случаях – в масштабе целых империй. Это вектор повышенной напряженности, поскольку именно по потомкам

тех, кого эти империи подчинили, климат ударит сильнее всего – и это уже привело к появлению нового политического движения под лозунгом «климатической справедливости».

Каковы перспективы таких претензий? Ответ зависит в основном от того, как поведет себя человечество в следующие десятилетия. Империи-эксплуататоры схлопывались и раньше, переходя к мирным отношениям с соседями, смягчая встречную агрессию подушками из репараций, репатриаций, обмена информацией и урегулирования разногласий. Один из возможных подходов к климатическим ударам – создание общей системы компенсаций, основанной на признании вины. Но пока мало кто признает, что богатые народы Запада имеют хоть какие-то «климатические долги» перед бедными народами, которые больше всех пострадают от потепления. Эти удары и выраженные через них проявления эксплуатации могут оказаться слишком тяжелыми, чтобы породить осознанное сотрудничество между народами, многие из которых либо проигнорируют происходящее, либо будут все отрицать.

Разумеется, мы пока не знаем, сколько страданий принесет глобальное потепление, но масштаб разрушений может раздуть этот долг до колоссальных размеров по любым существующим стандартам – больше любых известных истории долгов одних народов перед другими. Большинство из которых, кстати, так и не были выплачены сполна.

Если это кажется вам излишним преувеличением, задумайтесь над тем, что Британская империя была воздвигнута из чада ископаемого топлива. Сегодня из-за этого чада маршевые территории Бангладеш обречены на затопление, а города Индии – на выгорание, и все это – за время одной человеческой жизни. В XX веке США не добились столь ярко выраженного политического доминирования, но мировая империя, которую они возглавили, тем не менее трансформировала многие страны Ближнего Востока в ее нефтяные придатки – и сегодня эти страны каждое лето страдают от жары, из-за которой в отдельных регионах стало невозможно жить, и где в священных местах температура поднимется настолько, что паломничество, когда-то являвшееся ежегодным ритуалом для миллионов мусульман, станет смертельно опасным. Надо быть совсем уж бесконечным идеалистом, чтобы верить, будто вопрос ответственности за эти страдания не повлияет на нашу геополитику во времена климатического кризиса, а порождаемые этим кризисом каскадные эффекты – если мы не сможем их ограничить – не оставят идеализму ни единого шанса.

Очевидно, что существующие политические силы, обладающие такими инструментами, как законы о банкротстве, обязательно вступят в сговор ради ограничения климатической ответственности – для нефтяных компаний, правительств и целых народов. Эти договоренности могут рассыпаться – под действием других политических сил и даже восстаний, – в результате чего, возможно, будут устранены наиболее очевидные злодеи и их защитники, и у нас не останется тех, на кого можно легко возложить всю вину и ожидать соответствующих компенсаций. К этому моменту вопрос ответственности может встать особенно остро и превратиться в политическое оружие – в накипь климатического гнева.

Но если нам повезет и потепление не дойдет до двух или даже трех градусов, нас все равно ждет расплата, но не в виде ответственности, а в виде адаптации и минимизации ущерба, то есть стоимости создания и эксплуатации неких систем, посредством которых мы наспех

попытаемся нейтрализовать ущерб, нанесенный столетием деспотического промышленного капитализма той единственной планете, на которой мы можем жить.

Цена огромна: безуглеродная экономика, безоговорочно возобновляемая энергетика, переосмысленная система сельского хозяйства и, возможно, всеобщий отказ от поедания мяса. В 2018 году МГЭИК сравнила необходимость трансформаций с мобилизацией времен Второй мировой войны – но еще глобальнее. Нью-Йорку понадобилось 45 лет, чтобы построить три новые станции всего лишь на одной линии подземки; угроза катастрофически меняющегося климата потребует полной перестройки мировой инфраструктуры за гораздо меньшее время.

Вот почему однократные универсальные меры кажутся такими притягательными – мы снова возвращаемся к волшебным «отрицательным выбросам». Ни один из методов по достижению отрицательных выбросов – ни «природные» подходы по восстановлению лесов и новые методы в сельском хозяйстве, ни технологические, предполагающие создание мощностей по удалению углерода из атмосферы, – не предполагают полной трансформации глобальной экономики из ее существующего состояния. Наверное, поэтому отрицательные выбросы, когда-то считавшиеся «крайней мерой на случай, если все остальное не сработает», недавно стали практической целью в сфере климата. Из 400 предложенных МГЭИК моделей по сдерживанию потепления в пределах 2 °С 344 модели предполагают отрицательные выбросы (43); во многих моделях они занимают значительную часть. К сожалению, на данный момент идея отрицательных выбросов лежит преимущественно в сфере теории. На практике ни один из методов не дал желаемых результатов в необходимом масштабе, хотя «естественный подход», за который ратуют экологи, имеет еще меньше шансов на реализацию: один исследователь спрогнозировал, что для достижения успеха потребуется преобразовать треть всех сельхозземель мира (44); другой предположил, что в зависимости от того, как именно будет разработан и внедрен подход, он может дать противоположный результат, повышая, а не снижая содержание углекислого газа в атмосфере.

Вариант со сбором углерода, при котором планета покрывается «антипромышленными» заводами из киберпанк-фантазии, конечно, кажется более предпочтительным. Прежде всего, такие технологии у нас уже есть, хоть они и очень дорогие. Типовое устройство, как не уставал повторять Уоллес Брокер, по механической сложности сравнимо с автомобилем и стоит примерно столько же – около 30 тысяч долларов за штуку. Чтобы хотя бы компенсировать те объемы углерода, которые мы сейчас выбрасываем в атмосферу, понадобится 100 миллионов таких устройств. Но это лишь отсрочит неизбежное на короткое время – при затратах в 30 триллионов долларов, или около 40% глобального ВВП. А чтобы снизить содержание углерода хотя бы на несколько частей на миллион – что даст нам еще немного времени, компенсировав не только текущие выбросы, но и покрыв их на несколько лет вперед, – потребуется 500 миллионов таких устройств. Для снижения содержания углерода на 20 частей на миллион в год, по его расчетам, нужен миллиард таких аппаратов. Это сразу же опустит нас ниже критического порога и даже позволит немного увеличить выбросы – что часто используется как аргумент против данной технологии некоторыми левыми экологами. Но обойдется это нам, как вы уже, наверное, подсчитали, в 300 триллионов долларов, или почти в четыре глобальных ВВП.

Стоимость этих технологий, скорее всего, будет снижаться, но только с одновременным ростом выбросов и доли содержания углерода. В 2018 году в научной статье Дэвида Кита был описан метод сбора углерода (45), стоящий около 94 долларов за тонну – что доведет стоимость нейтрализации наших 32 миллиардов тонн углерода в год до примерно трех триллионов долларов. Если вам кажется, что это слишком много, имейте в виду, что ежегодные субсидии для нефтегазовых компаний составляют около пяти триллионов долларов (46). Но даже сам Кит, который заработал бы миллиарды на своем изобретении, не сильно за него ратует. По его словам, куда дешевле было бы просто сократить выбросы углерода в атмосферу, чем пытаться от него избавиться. Однако в некоторых сферах избежать выбросов углерода пока невозможно – как например, в авиации, – и его метод мог бы дать ученым время на разработку новых технологий. Как говорится, лучше раньше, чем позже. Однако в 2017 году, когда США вышли из Парижского соглашения, страна одобрила налоговые вычеты на 2,3 триллиона (47) – в первую очередь для самых богатых, потребовавших себе послаблений.

Церковь технологий

Если что-то нас и спасет, это будут технологии. Но одними пустыми разговорами планете не поможешь, а в Кремниевой долине[97], футуристском братстве[98], кроме сказок пока ничего не предлагают. За последние десять лет преклонение потребителей возвело основателей стартапов и венчурных капиталистов в ранг технологических шаманов, которые, словно оракулы, пытаются предсказать будущее нашего мира. Но почему-то лишь немногие из них выражают хоть какое-то беспокойство в отношении изменений климата. Вместо этого они скупно вкладываются в «зеленую» энергетику (не считая Илона Маска и Билла Гейтса), немного занимаются благотворительностью (опять же не считая Билла Гейтса) и часто указывают на описанную Эриком Шмидтом теорию (48), согласно которой вопрос изменения климата можно считать разрешенным. Точнее, темпы развития технологий сделают решение этого вопроса неизбежным – или же это произойдет за счет внедрения саморазвивающихся технологий, а именно искусственного интеллекта, ИИ.

Это мировоззрение можно считать слепой верой в искусственный интеллект, хотя перспектива его изобретения вызывает у многих в Кремниевой долине слепой ужас. Однако футурологи придерживаются другого мнения. Они считают технологии некоей сверхструктурой, в которой содержатся как все наши проблемы, так и все их решения. С этой точки зрения, единственной угрозой для технологий являются сами технологии, и, вероятно, поэтому многие в Кремниевой долине гораздо меньше задумываются о безудержных изменениях климата, чем о безудержном развитии искусственного интеллекта, – они способны воспринимать всерьез лишь те угрозы, которые они сами породили. Этот странный тип мировоззрения появился на свет из контркультурной среды Сан-Франциско и был описан Стюартом Брандом в библии покорителей природы «Каталог всей Земли»[99]. Он может объяснить, почему создатели соцсетей так долго не осознавали угрозу своим платформам со стороны политики и почему, как предположил писатель-фантаст Тед Чан, страхи Кремниевой долины перед порабощением со стороны ИИ напоминают нелестный автопортрет, в котором технологические титаны узнают свой подход к бизнесу:

Задумайтесь: кто преследует свои цели с маниакальным упорством, игнорируя возможные негативные последствия? (49) Кто готов уничтожать Землю ради увеличения своей доли рынка? Этот гипотетический искусственный интеллект делает то же самое, к чему стремится любой технологический стартап: к экспоненциальному росту и уничтожению конкурентов для достижения абсолютной монополии. Идея суперинтеллекта настолько расплывчата, что его можно представить в виде бесконечного количества персонажей, имеющих одинаковую смысловую ценность: доброго волшебника, решающего все мировые проблемы, или гениального математика, который все свое время проводит за доказательством теорем столь абстрактных, что люди даже не могут понять их суть. Но когда этот суперинтеллект пытаются представить обитатели Кремниевой долины, его спутником всегда становится ничем не сдерживаемый капитализм.

Порой бывает сложно удержать в голове больше одной экзистенциальной угрозы. Но у Ника Бострома, одного из пионеров философии искусственного интеллекта, все-таки получилось. В своей передовой статье 2002 года (50), посвященной систематизации «экзистенциальных рисков», он перечислил двадцать одну потенциальную катастрофу, в результате которых «неблагоприятный исход либо уничтожит всю разумную жизнь земного происхождения, либо в значительной мере ограничит ее потенциал навсегда».

Бостром – не одинокий интеллектуал-пессимист, а один из ведущих мыслителей, пытающихся на концептуальном уровне сформулировать угрозу нашему виду со стороны вышедшего из-под контроля ИИ. Но в свой перечень рисков он включил и угрозу изменения климата, отнеся ее к подкатегории «Взрывов» – сценариев, которые могут стать причиной «вымирания разумной жизни земного происхождения в результате относительно внезапного бедствия, произошедшего либо случайно, либо из-за преднамеренного акта разрушения». Это самая большая категория в его перечне; бок о бок с изменениями климата в ней стоят сценарии, чьи названия говорят сами за себя: «Плохо запрограммированный суперинтеллект» и «Мы живем в симуляции, которую скоро отключат».

В своей статье Бостром также рассматривает связанный с изменением климата риск «истощения ресурсов или экологической катастрофы». Эту угрозу он отнес к категории «Кризисов»: событий, после которых «потенциал человечества развиваться в постчеловечество будет перманентно подорван, хотя сама человеческая жизнь в какой-то форме продолжит свое существование». Самым показательным риском в данной категории, пожалуй, является «Технологическая задержка»: «технологические трудности, связанные с переходом в постчеловечество, окажутся столь велики, что мы не сможем их преодолеть». Бостром определил еще две категории: «Вопли» – риски, при которых «человечество достигнет постчеловечества до определенной степени, но будет сильно ограничено», как в случае с «Трансцендентной загрузкой в облако» или «Дефектным суперинтеллектом» (не путать с «Плохо запрограммированным суперинтеллектом»); и «Всхлипы», при которых «постчеловеческая цивилизация появится, но будет развиваться в направлении, постепенно, но неотвратимо ведущем либо к полному исчезновению наших ценностей, либо к состоянию, где эти ценности осознаются лишь в мизерной части от того, чего можно было бы с ними достичь».

Как вы могли заметить, хотя статья Бострома и нацелена на анализ «сценариев вымирания человечества», ни одна из категорий, за исключением «Взрывов», не упоминает угроз для человечества как такового. Вместо этого автор сосредоточился на том, что он называет «постчеловечеством», а другие часто называют «трансгуманизмом», – теории, что технологии могут молниеносно перенести нас в новое состояние, столь сильно отличающее от нынешнего, что мы будем вынуждены считать это истинным прорывом в нашей эволюции. Кто-то считает, что в этом радужном будущем в нашей кровеносной системе поселятся наноботы, фильтрующие токсины и распознающие опухоли; другие предсказывают, что человеческая жизнь выйдет за рамки осязаемой реальности и сознание можно будет полностью загрузить в компьютер. И тут мы натываемся на отголоски антропоцена: люди снимут с себя бремя решения проблем экологии; мы просто сбежим от них при помощи технологий.

Пока подобные перспективы сложно воспринимать всерьез, но среди авангарда футурологов Сан-Франциско, пришедших на смену поколению NASA и Bell Labs[100], эти взгляды укоренились почти повсеместно и безоговорочно (51) – и различаются лишь оценками того, насколько быстро такое будущее наступит. Питер Тиль[101] сетует на медленный темп развития технологий, но, возможно, он просто опасается, что они отстанут от темпов экологического и политического разрушения. Он продолжает инвестировать в сомнительные проекты по исследованию «вечной молодости» и скупает земли в Новой Зеландии (где он сможет пережить социальный коллапс нашей цивилизации). Сэм Альтман из венчурного фонда Y Combinator, заслуживший своим пилотным проектом «универсального базового дохода» статус технофилантропа, недавно объявил о готовности инвестировать в стартапы в сфере геоинжиниринга. По слухам, он уже внес предоплату создателям программы загрузки сознания в компьютер, в результате чего его разум покинет наш мир. Неудивительно, что он инвестор и этого проекта тоже.

Бостром не сомневается, что предназначением «человечества» является создание «постчеловечества», и для него эти термины почти синонимичны. Это отнюдь не наивность, а ключ к его популярности в Кремниевой долине: вера в то, что главная задача технопионеров – не создание условий для процветания и развития человечества, а построение некоего портала для перехода в новое, возможно, вечное существование, в технологическую идиллию, в которую многие – например, миллиарды людей, не имеющих доступа к широкополосному интернету, – никогда не попадут. Наверное, им будет крайне затруднительно загрузить свой мозг на сервер, пользуясь сим-картой с ограниченным трафиком.

Мир, раздираемый меняющимся климатом, останется позади. Разумеется, Бостром не единственный, кто считает этот риск угрозой существованию человечества. Тысячи, а возможно, и сотни тысяч ученых пытаются докричаться до аудитории непрофессиональных читателей после каждого экстремального погодного явления или нового исследования; и даже такой образец сдержанности, как Барак Обама, регулярно говорил об «экзистенциальной угрозе». Тем не менее, пожалуй, это признак техноцентризма нашей культуры: за исключением предложений по колонизации других планет и рассуждений о технологиях, которые освободят людей от большинства биологических и экологических потребностей, мы так и не приблизились к созданию подобных религиозных идей в

отношении изменения климата, способных нас успокоить или придать смысл нашим жизням перед лицом возможной аннигиляции.

Разумеется, все это именно что религиозные фантазии: покинуть тело и возвыситься над бренным миром. Первая фантазия – почти карикатура на мышление привилегированного класса; проникновение этой идеи в мечты миллиардеров, пожалуй, было неизбежным. Вторая больше похожа на стратегический ответ на климатическую панику – обеспечение запасной экосистемы, чтобы спастись в случае коллапса существующей, – именно так описывают эту идею ее приверженцы.

Но это не рациональные варианты решения проблемы. Изменение климата угрожает самим основам жизни на нашей планете, но даже в разрушенном виде эта экосистема будет намного более пригодной для нашего выживания, чем красные пустыни Марса. Даже летом на экваторе этой планеты ночная температура опускается до -73°C ; на поверхности нет ни воды, ни растительности. Теоретически при достаточном финансировании на Марсе или другой планете можно построить небольшую изолированную колонию; но ее стоимость будет намного выше, чем у эквивалентной искусственной экосистемы на Земле, а потому масштаб такой колонии будет ограничен. Любой, кто рассматривает космические полеты как решение проблемы глобального потепления, находится в плену собственных климатических иллюзий. Представить, что такая колония может обеспечить материальное изобилие на том уровне, к которому привыкли техноплутократы в Атертоне[102], значит еще глубже погрузиться в нарциссизм этого заблуждения – как будто затащить всю свою роскошь на Марс будет так же просто, как на фестиваль Burning Man[103].

У рядовых граждан, неспособных купить билет на космолет, символы веры выглядят иначе. Религиозная атрибутика предусмотрительно предлагается по доступным ценам: смартфоны, стриминговые сервисы, каршеринг и почти бесплатный доступ в интернет. Вся эта мишура позволяет скрыться от разрушающейся реальности.

Кристина Николь стала свидетельницей разрушительных пожаров 2017 года в Сан-Франциско – в тот же сезон пришли ураганы «Харви», «Ирма» и «Мария». В своих мемуарах «Рассказ о моей хижине» (52) она пересказала разговор со своим родственником, работавшим в IT-компании, которому она безуспешно пыталась объяснить масштаб беспрецедентных угроз изменения климата. «А чего беспокоиться?» – спросил он в ответ.

“ «Технологии обо всем позаботятся. Если Земля исчезнет, мы будем жить на космических кораблях. 3D-принтеры напечатают нам еду. Мясо будем делать в лаборатории. Одна корова накормит всех. Мы просто перегруппируем атомы, чтобы получать воду и кислород. Илон Маск!»

В данном контексте Илон Маск – не имя, а обобщенное название стратегии выживания человечества. Николь возразила: «Но я не хочу жить на космическом корабле».

Он был очень удивлен, услышав это. В своей сфере он еще не встречал никого, кто не хотел бы жить на космическом корабле.

Мечты о том, что технологии освободят нас от физического труда и материальных потребностей, стары как мир – британский экономист Джон Мейнард Кейнс еще в XIX веке предсказывал (53), что его внуки будут работать лишь пятнадцать часов в неделю; правда, этого так и не произошло. Получивший в 1987 году Нобелевскую премию экономист Роберт Солоу прокомментировал это так: «Компьютеризация повлияла на все, кроме статистики производительности труда» (54).

В течение последних десятилетий жители развитых стран ощутили на себе этот эффект – стремительное развитие технологий заметно повлияло на наш быт, однако не принесло никаких заметных улучшений по части экономического благосостояния. Возможно, это отчасти объясняет, почему общество недовольно политиками, – казалось бы, мир радикально меняется, но, как бы нам всем ни нравились всевозможные нетфликсы, амазоны, инстаграммы и гугл-карты, на качество наших жизней они не особо влияют.

К сожалению, примерно то же самое можно сказать и о хваленной революции в «зеленой энергетике». Она повысила продуктивность и снизила издержки в энергетике, значительно превзойдя прогнозы даже самых оголтелых оптимистов, но никак не повлияла на кривую роста выбросов. Другими словами, потратив за прошедшие годы миллиарды долларов и совершив тысячи технологических открытий, мы недалеко ушли от времен, когда хиппи только начали устанавливать солнечные панели на крыши своих экодомов. Дело в том, что рынок не отреагировал на эти изменения отказом от «грязных» источников энергии и переходом на «чистые»; он просто добавил новые мощности к существующим.

За последние 25 лет стоимость единицы возобновляемой энергии упала настолько, что ее сложно измерить в пересчете по нынешнему курсу (например, с 2009 года стоимость солнечной энергии снизилась на 80%). Но за те же 25 лет доля возобновляемой энергии в общем энергетическом балансе вообще не выросла. Иными словами, солнечная энергетика не замещает ископаемую, а лишь дополняет. С точки зрения рынка это рост; для цивилизации – почти самоубийство. Сейчас мы сжигаем на 80% больше угля, чем в 2000 году.

Но энергия – далеко не главный элемент общей картины. Как справедливо заметил в своем твиттере футуролог Алекс Стеффен, переход от грязного электричества к чистому – лишь часть проблемы. Это просто самое доступное решение: «проще, чем электрификация всего, что использует энергию», пишет Стеффен, имея в виду все, что работает на грязных, бензиновых двигателях. По его словам, переход на чистую энергетiku не так значим, как снижение энергетических потребностей; но еще важнее – переосмыслить принципы предоставления товаров и услуг в целом – учитывая, что глобальные сети поставок основаны на грязной инфраструктуре и весь рынок труда основан на грязной энергии. Еще одна важная задача – минимизировать выбросы, вызванные разведением домашнего скота, вырубкой лесов, сельхоздеятельностью и свалками. Необходимо защитить достижения цивилизации от грядущего хаоса природных бедствий и экстремальной погоды. Назревает вопрос создания мирового правительства или как минимум системы международной кооперации для координации таких проектов. Но все это, говорит Стеффен, не так важно, как «монументальный мировоззренческий сдвиг: общество должно представить, что благополучное, динамичное, устойчивое будущее возможно – и за него стоит бороться».

Тут наши с ним взгляды немного расходятся – вообразить такое будущее совсем не сложно, особенно тем, кто не так хорошо, как Стеффен, проинформирован о существующих проблемах. Если бы все зависело только от нашего воображения, мы бы уже давно решили проблему. На самом деле мы уже представляем возможные решения; более того, мы даже начали их разрабатывать, по крайней мере в виде «зеленой» энергетики. Но у нас пока не хватает политической решимости, экономического потенциала и ментальной гибкости для их внедрения и активации. Для этого требуется нечто большее, чем воображение, – нужна полная перестройка мировой энергетической системы, транспортной инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства. Не говоря уже о наших кулинарных предпочтениях и увлечении биткоином. В настоящее время майнинг криптовалют за год производит такое же количество выбросов CO₂, как миллион трансатлантических перелетов (55).

Нам кажется, что изменение климата происходит медленно, но это не так – климат меняется с пугающей скоростью. Мы думаем, что технологические перемены, которые его предотвратят, произойдут очень быстро, но, к сожалению, они обманчиво неторопливы – особенно с учетом того, что нужны они уже сейчас. Именно это имел в виду Билл Маккиббен, говоря, что медленная победа равносильна поражению: «Действовать надо быстро и в глобальном масштабе, иначе проблема станет нерешаемой. Решения, принятые в 2075 году, уже ни на что не повлияют» (56).

Зачастую инновации как таковые – самая достижимая часть необходимых перемен. Именно это имел в виду писатель Уильям Гибсон, когда говорил, что «будущее уже наступило, просто оно неравномерно распределено» (57). Священные для технофилов гаджеты вроде айфонов сеют иллюзию, что технологии распространяются очень быстро; в США, Японии или Швеции они есть практически у каждого. Но общая ситуация совсем иная: эти гаджеты появились на рынке больше десяти лет назад, но ими пользуется менее 10% населения мира (58), смартфонами в целом, включая условно «дешевые» модели, – от четверти до трети населения (59). Можно оценить технологический прогресс по доступности интернета и количеству простых сотовых телефонов – до их повсеместного внедрения пройдут еще десятки лет, из которых у нас есть лет двадцать-тридцать на то, чтобы полностью прекратить углеродные выбросы в масштабах всей планеты. Согласно оценкам МГЭИК, у нас есть двенадцать лет, чтобы сократить их вдвое. Чем дольше мы ждем, тем тяжелее будет. Если бы мы начали глобальное сокращение углеродных выбросов в 2000 году (60), когда Эл Гор с минимальным отрывом проиграл президентские выборы в США, нам пришлось бы сокращать их только на 3% в год, чтобы не допустить 2 °C потепления. Если начать сегодня, когда глобальные выбросы продолжают расти, необходимый темп составит 10% в год. Если прождать еще десять лет, нам потребуется сокращать выбросы на 30% в год. Вот почему генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что у нас есть всего год (61), чтобы сменить курс и начать действовать.

Масштабы требуемых технологических трансформаций превосходят все достижения Кремниевой долины, да и вообще все технологические революции за всю историю человечества: электрификацию, телекоммуникации и даже изобретение сельского хозяйства 10 тысяч лет назад. Они затмевают их по определению, поскольку затрагивают все области нашей жизни – каждая из этих областей потребует полной перезагрузки, ведь все они – источники углерода.

Для глубокой перестройки этих систем полумер вроде бесплатных смартфонов или запуска раздающих wi-fi воздушных шаров (как это планирует делать Google в Кении и Пуэрто-Рико) будет недостаточно. По трудоемкости это сравнимо со строительством системы междугородних автострад, или сетей подземного транспорта, или новых энергосистем, подключенных к новым источникам энергии и ее новым потребителям. На самом деле это даже не сравнение – все это нам предстоит в ближайшем будущем. Плюс многое, многое другое: трудоемкие инфраструктурные проекты на каждом уровне и в каждом аспекте деятельности человека, от новых самолетов и новых методов землепользования вплоть до новых методов изготовления цемента, производство которого глобально занимает вторую позицию по масштабам углеродных выбросов, – и эта область стремительно растет, в первую очередь благодаря Китаю, который недавно за три года произвел больше цемента, чем было использовано в США за весь XX век (62). Если бы индустрия по производству цемента была страной, она занимала бы третью в мире позицию по объемам выбросов.

Масштаб этих инфраструктурных проектов настолько невообразим, по крайней мере в США, что сейчас мы уже даже не задумываемся о том, чтобы доводить до ума существующую инфраструктуру, а привыкаем жить с ямами на дорогах и медленным сервисом. Кроме того, в отличие от интернета и смартфонов, требуемые технологии не дополняют, а заменяют (или должны заменить) существующие, если мы действительно хотим избавиться от грязной энергетики и промышленности. А это значит, что любая новая альтернатива столкнется с сопротивлением существующих корпоративных интересов и предпочтениями потребителей, в целом вполне довольных нынешним положением дел.

«Зеленая революция» в энергетике вроде бы уже началась. Но из всех компонентов глобальной новой парадигмы «нулевых выбросов» чистая энергия, пожалуй, находится на временной шкале дальше других. Насколько далеко? В 2003 году Кен Калдерия, сотрудник Института Карнеги, рассчитал, что для предотвращения катастрофических изменений климата нам до 2050 года нужно ежедневно вводить в эксплуатацию по одному источнику чистой энергии (63), эквивалентному по мощности одной атомной электростанции. И начинать надо было в 2000 году. Журнал MIT Technology Review в 2018 году оценил наш прогресс в этой области: при оставшихся тридцати годах стабильности нам потребуется 400 лет, чтобы завершить «зеленую революцию» нынешними темпами (64).

Этого времени будет вполне достаточно, чтобы погибли целые цивилизации, к чему все, в общем, и идет. Тут можно немного помечтать о сборе углерода: если нам не удастся вовремя перестроить существующую инфраструктуру, чтобы избежать ее самоуничтожения, возможно, получится на какое-то время отсрочить неизбежное, откачав некоторое количество токсичных выбросов из атмосферы. Но, учитывая то, как сложно изменить существующий порядок вещей и как мало времени у нас остается для этих перемен, отрицательные выбросы пока остаются примером климатического «магического мышления». Возможно, это – наша последняя надежда. И если она вдруг оправдается, заводы по сбору углерода могут стать технологическим искуплением промышленных грехов – и породить в результате новое теологическое слияние человечества с мощью машин.

Через мечты о сборе углерода красной нитью проходит фантазия об «идеальной промышленности» – технологиях, которые избавят нас от экологического наследия,

возможно даже, полностью устранят его углеродный след.

Энергия солнца и ветра почти подсознательно подается публике похожим образом: чистая энергия, природная энергия, возобновляемая и потому постоянная энергия, энергия без выбросов, бесконечная энергия, производство, а не сбор энергии, изобилие энергии, бесплатная энергия. Все это очень похоже на атомную энергию, по крайней мере, в ее изначальном представлении и восприятии. Но так было в далекие 1950-е: прошли десятки лет с тех пор, как атомная энергия казалась оптимальным путем решения энергетических проблем человечества, – в отличие от сегодняшнего восприятия ее через призму страха метафизического заражения.

Так было не всегда. В 1953 году Дуайт Эйзенхауэр, выступая в ООН с речью «Атом для мира», обозначил параметры гонки вооружений, а вместе с ними и некоторые моральные обязательства: любой стране в качестве награды за отказ разрабатывать ядерное оружие Соединенные Штаты, словно искупая свою вину за создание этих страшных технологий, предложат помощь в освоении атомной энергетики, которую они также будут внедрять у себя в стране.

Из уст президента, к тому же бывшего военного, этот на удивление лирический порыв звучал как мирный призыв к оружию, но теперь он замечательным образом напоминает современному читателю об угрозе изменения климата. После краткого описания стремительного расширения мощностей американского атомного флота – который за восемь послевоенных лет вырос в двадцать пять раз и начал выглядеть откровенно пугающе – и того, что означает для Соединенных Штатов наличие ядерного соперника в лице СССР, Эйзенхауэр продолжил:

«Если бы мы остановились на этом, мы беспомощно приняли бы возможность разрушения цивилизации – уничтожение незаменимого наследия человечества, передававшегося из поколения в поколение, – обрекли бы человечество на то, чтобы оно снова принялось за вековую борьбу, ведущую его от варварства к достоинству, истине и справедливости. Ни один здравомыслящий представитель человеческой расы не мог бы, разумеется, узреть победу в таких разрушениях. Может ли кто-нибудь желать, чтобы его имя было связано в истории с разложением и уничтожением человеческой расы? Страницы истории иногда упоминают „великих разрушителей“, но вся история в целом обнаруживает непрестанное стремление человечества к миру и созиданию, дарованное Господом Богом».

Сменилось как минимум одно поколение, в течение которого американцы без задних мыслей применяли слова о «стремлении человечества к созиданию, дарованном Господом Богом» к атомной энергии – поколение, за время которого мир перестал верить, что атомная энергия «бесплатна» с точки зрения экологии, и стал смотреть на нее через призму атомных войн, мутаций и рака. То, что мы хорошо помним названия всех атомных электростанций, потерпевших аварии, показывает, насколько мы их боимся: Три-Майл-Айленд, Чернобыль, Фукусима.

Но если учесть число жертв этих аварий, такие страхи можно считать почти беспричинными. Смертность от аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» вызывает некоторые споры, и многие

активисты считают, что правду о последствиях скрыли – эта теория кажется правдоподобной, так как по официальной версии никаких вредных последствий для здоровья не было вообще. В то же время наиболее авторитетные исследователи предполагают, что разрушение реактора повысило риск заболевания раком в радиусе шестнадцати километров менее чем на 0,1%. В случае с Чернобылем, по официальной версии, погибло 47 человек (65), хотя, по некоторым оценкам, жертв было намного больше – до 4000 человек (66). После Фукусимы, согласно отчету ООН, «среди граждан, подвергшихся воздействию, а также их потомков не ожидается возникновения никаких заметных отклонений в состоянии здоровья (67), связанных с воздействием радиации». Если бы из 100 тысяч человек, живущих в зоне эвакуации, никто ее не покинул, возможно, несколько сотен в итоге могли бы умереть от рака, вызванного радиацией.

Любая смерть – это трагедия, но из-за загрязнений микрочастицами, вызванных сжиганием углерода, в мире каждый день умирает 10 тысяч человек. И это даже без учета потепления и его последствий. Из-за внесения изменений в нормативы по загрязнениям для производителей угля, предложенных при Трампе Управлением по охране окружающей среды, ежегодно будут умирать 1400 американцев (68) – по признанию самого агентства. Глобально же загрязнение убивает до девяти миллионов человек в год (69).

Мы живем с этими загрязнениями и смертями, но едва их замечаем, в отличие от бетонных башен атомных электростанций, постоянно маячащих на нашем горизонте, подобно чеховскому ружью, которое рано или поздно выстрелит. Сегодня, несмотря на разнообразие проектов, нацеленных на производство дешевой атомной энергии, стоимость новых электростанций остается высокой, и пока сложно предположить, что в них будет направлено больше «зеленых» инвестиций, чем в энергию, производимую солнцем и ветром. Казалось бы, причин выводить из эксплуатации и демонтировать действующие атомные электростанции не так много, однако именно это и происходит – от США, где закрываются АЭС «Три-Майл-Айленд» и «Индиан Пойнт», до Германии, где за последние годы количество атомных электростанций сократилось настолько, что даже масштабная программа внедрения чистой энергетики не успевает восполнять пробелы (70). За это Ангелу Меркель стали называть «Климатическим канцлером».

Нельзя оценивать атомную энергетику только с позиций загрязнения; это очередное климатическое заблуждение, хоть и основанное на заботе об окружающей среде, – вмешательство промышленности не должно загрязнять и отравлять здоровую и чистую природу. Но главный урок этой главы состоит в другом: технологии всеми доступными способами склоняют нас к мысли, что мир за пределами наших смартфонов не такой реальный и важный, как те миры, которые открываются нам на экранах гаджетов; миры, которые не будут затронуты меняющимся климатом. Андреас Малм в связи с этим задался вопросом: «Сколько людей будут играть в игры с дополненной реальностью, когда планета потеплеет на 6 °C?» (71) Британская поэтесса и певица Кейт Темпест описала процесс лаконичнее: «Мы пялимся в экраны, чтобы не видеть, как умирает планета»[104].

Наверное, вы уже замечаете эту трансформацию вашей жизни – когда листаете фотографии своего ребенка, хотя сам он рядом с вами, или читаете споры в твиттере, пока с вами разговаривает близкий человек. В Кремниевой долине даже техножурналисты склонны

видеть в этой проблеме очередную форму зависимости; но, как и любая другая зависимость, она выражает оценочное суждение, раздражающее тех, у кого этой зависимости нет, – в данном случае мы своими действиями демонстрируем, что мир на экране кажется нам настолько привлекательнее или безопаснее, что это даже трудно объяснить или обосновать. Он становится для нас «предпочтительным». И это предпочтение наверняка будет только усиливаться, а не ослабляться, что многие воспримут как культурную деградацию, особенно – темпераментные денацисты. Возможно, это могло бы стать психологически полезным компенсаторным механизмом в рамках традиционной буржуазной традиции потребления в условиях разрушающейся природной среды. Не исключено, что уже через одно поколение (боже упаси) технологическая зависимость будет рассматриваться как способ «адаптации».

Политика потребления

В субботу 14 апреля 2018 года ранним утром в бруклинский Проспект-парк зашел шестидесятилетний мужчина. Он облился бензином и поджег себя. Рядом с телом, на круглом, почерневшем от пламени участке травы, лежала записка: «Я, Дэвид Бакел, совершил самоубийство огнем в знак внутреннего протеста. Извините за беспорядок» (72). Беспорядка было немного: он соорудил вокруг себя земляной барьер, чтобы огонь не распространился дальше.

Подробности своего поступка Бакел раскрыл в длинном письме, направленном в редакции городских газет (73). «Сегодня большинство людей на планете дышат воздухом, отравленным ископаемым топливом, и многие из-за этого преждевременно умирают. Моя смерть от ископаемого топлива – символ того, что мы делаем с самими собой... Загрязнение убивает нашу планету, – написал он. – Наше настоящее становится невыносимым, наше будущее требует от нас гораздо больших действий».

Американцы впервые узнали о политических самосожжениях еще во времена войны во Вьетнаме, когда буддистский монах Тхить Куанг Дык, используя для выражения своего протеста духовную традицию самоочищения, сжег себя в Сайгоне. Через несколько лет квакер Норман Моррисон вдохновился на такой же поступок рядом со зданием Пентагона; с ним погибла его годовалая дочь. Через неделю после этого Роджер Аллен Лапорт, бывший семинарист-католик, поджег себя возле штаб-квартиры ООН. Мы не задумываемся об этом, но традиция продолжается. В США в 2014 году произошло шесть протестных самосожжений; в Китае это происходит чаще, особенно среди противников политики страны в отношении Тибета, – двенадцать человек за последние три месяца 2011 года и двадцать человек в первые три месяца 2012-го. И, конечно же, самосожжение тунисского торговца фруктами, ставшее началом «арабской весны».

Бакел стал экоактивистом уже в пожилом возрасте; большую часть своей карьеры он провел, работая адвокатом по защите прав геев. В своем прощальном письме он выдвинул два обвинения: природа уничтожается промышленной деятельностью; чтобы прекратить, а в идеале – возместить ущерб, наносимый природе, нужно сделать намного больше, чем может себе представить среднестатистический прохожий в Проспект-парке. В первые дни

после его самоубийства основное внимание привлекло первое обвинение: его смерть восприняли как сигнал, ознаменовавший, возможно, некий смутный сдвиг в здоровье планеты, но в первую очередь – в умах бруклинцев. Со вторым сложнее: климатический кризис требует реальной политической воли, которую невозможно заменить простым выражением сожалений, партийным единством или этичным потреблением.

Либеральных сторонников защиты окружающей среды часто обвиняют в лицемерии – они едят мясо, летают на самолетах, голосуют за либералов, но даже «Теслу» себе еще не купили. Но в отношении «прозревших» левых часто бывают верны обратные обвинения: мы следуем за путеводной звездой политической повестки, выбирая диету, друзей и даже музыку, но редко поднимаем политическую шумиху в отношении вопросов, которые идут вразрез с нашими интересами или чувством собственной значимости, то есть просветленности. В ближайшие годы разоблачения станут первым выстрелом в моральной гонке вооружений между университетами (74), муниципалитетами и странами. Города будут конкурировать за первенство на запрет автомобилей, за покраску всех крыш в белый цвет, за производство всей сельхозпродукции для горожан на вертикальных фермах, урожай с которых не нужно будет перевозить на автомобилях, поездах и самолетах. Но либеральный подход из серии «Моя хата с краю» еще даст о себе знать, как это было в 2018 году, когда американские избиратели в махрово-синем[105] Вашингтоне отвергли в кабинках для голосования углеродный налог, а во Франции из-за предлагаемого налога на бензин начались худшие протесты со времен квазиреволюции 1968 года. Пожалуй, ни по одному другому вопросу либералы не занимают столь однозначной оборонительной позиции: независимо от ваших политических взглядов и потребительских предпочтений, чем вы богаче, тем больше ваш углеродный след.

Но когда критики Эла Гора сравнивают его потребление электричества со средним показателем по Уганде, они вовсе не привлекают внимание к вызывающе лицемерному образу жизни конкретной личности, как бы они ни старались эту личность дискредитировать. Вместо этого они призывают обратить внимание на мировую политико-экономическую структуру, которая не только допускает неравенство, но и активно извлекает из него прибыль – именно это Тома Пикетти[106] называет «аппаратом оправдания» (75). И он оправдывает очень многое. Если самые очевидные мировые «углеродные эмитенты» – то есть самые богатые 10% населения – снизят свои выбросы хотя бы до среднего уровня Евросоюза, глобальные выбросы упадут на 35%. Но для этого измениться должен политический курс, а не индивидуальные пищевые предпочтения. В эпоху персонифицированной политики лицемерие может казаться смертным грехом, но оно вполне способно выражать настроения общества. Иными словами, питаться органическими овощами – это неплохо, но если вы хотите спасти климат – ваш голос на выборах будет намного действеннее. Политика – это мультипликатор морали. А простое осознание мировых проблем, не подкрепленное политической волей, даст нам только велнес[107].

Поначалу трудно воспринимать велнес всерьез, в связи с чем, вероятно, за последнее время на это движение обрушился шквал критики (76) – как на скандальные стартапы SoulCycle, Goop и Moon Juice[108]. Но как бы этим понятием ни манипулировали маркетологи и каким бы сомнительным ни было его влияние на здоровье, современная концепция велнеса создает – особенно среди тех, кто достаточно богат, чтобы изолироваться от первых

последствий изменения климата, – четкое понимание того, что современный мир отравлен и для дальнейшего выживания и процветания в нем нужно принимать экстраординарные меры по самоограничению и самоочищению.

Так называемый новый нью-эйдж основан на схожих представлениях. Его последователи считают, что медитация, галлюциногенные трипы под айяуаской, лечение кристаллами, посещение Burning Man и микродозинг ЛСД открывают путь в новый мир – более чистый, здоровый, стабильный и, пожалуй, самое главное – более целостный. Эта идея очищения, скорее всего, распространится по мере того, как климат будет крениться в сторону заметной деградации, а потребители всеми силами будут пытаться выбраться из расплывающегося по швам мира. Вполне возможно, что через пару лет в супермаркетах, наряду с «органическими» и «фермерскими» продуктами появится новая категория – «безуглеродных». ГМО – это не признак упадка планеты, а возможное частичное решение надвигающегося кризиса в сельском хозяйстве, – как и атомные электростанции для энергетики. Но оба этих решения уже стали – почти как канцерогены – недопустимыми для сторонников очищения, чьи ряды регулярно пополняются, и они распространяют все больше экотревожности на своем пути.

Эта тревожность может оказаться оправданной и даже рациональной, когда новости становятся мрачнее день ото дня. Не так давно выяснилось, что многие американские продукты питания, в которых содержится овес, в том числе Cheerios и Quaker Oats [109], содержат гербицид «Раундап» (77), который может вызывать рак. Тем временем Национальная служба погоды публикует подробные инструкции (78), как правильно выбрать лицевую маску для защиты от дыма природных пожаров, покрывшего почти всю Северную Америку. Вполне очевидно, что стремление к очищению все больше проникает в массовую культуру и ему суждено распространяться от периферии к центру почти синхронно с ростом экологической тревожности.

Но велнес, как и осознанное потребление, – это лишь отговорка, основанная на главных обещаниях неолиберализма: что личные потребительские предпочтения могут заменить перемены в политике и стать показателем не только политической принадлежности, но и добродетели; что конечной целью капитала и власти должен стать отказ от политических споров в пользу рыночного консенсуса, который заменит собой идеологические разногласия, и что, покупая в супермаркете только правильные продукты, вы помогаете планете.

Термин «неолиберализм» стал ругательным у левых лишь после мирового экономического кризиса. До этого он в основном выполнял только описательную функцию: в отношении растущей силы рынков, в первую очередь финансовых, в либерально-демократических странах Запада во второй половине XX века; и в отношении крепнущего альянса центристов в странах, готовых распространять эти «ценности» в форме приватизации, дерегуляции, низких корпоративных налогов и продвижения свободной торговли.

В течение пятидесяти лет эта программа держалась на обещаниях роста, причем роста не только для избранных. И она стала своего рода глобальной политической философией, растянув единственную идеологическую установку до состояния, когда та опутала весь мир, подобно кокону парниковых газов.

Эта философия была глобальной и в других аспектах; она оказалась неспособной к адаптации как в Англии после финансового кризиса, так и в Пуэрто-Рико после урагана «Мария»; она не умела признавать свои недостатки, парадоксы и слепые пятна, предлагая вместо решения проблем лишь все больше неолиберализма. В итоге силы, спровоцировавшие изменение климата, – то есть «необузданная мудрость рынка» – были представлены как спасители планеты от его последствий. Именно так «филантрокапитализм» (79), который всегда ищет выгоду, в то же время помогая людям, занял место убыточной модели моральной филантропии в умах миллионеров и миллиардеров. Призеры нашего бесконечного экономического соревнования, в котором «победитель получит все», используют филантропию для обеления своего имиджа; «эффективный альтруизм», применяющий показатели окупаемости инвестиций даже к некоммерческим благотворительным организациям, вывел культуру пожертвований далеко за рамки класса миллиардеров; «моральная экономика» (80), риторический термин, когда-то обозначавший радикальную критику капитализма, стала визитной карточкой «добрых» капиталистов вроде Билла Гейтса. Тем временем простых граждан призывают стать предпринимателями (81), чтобы через этот нелегкий труд продемонстрировать свою ценность как граждан в истощенной социальной системе, чья главная определяющая черта – неумолимая конкуренция.

Так выглядит критика со стороны левых, и в некотором смысле она совершенно справедлива. Но, прикрывая рыночными интересами все противоречия и конкуренцию, неолиберализм предложил миру новую модель ведения бизнеса, которая появилась не из бесконечной конкуренции между странами и не направлена на ее поддержку.

Не следует путать корреляцию с причинно-следственными связями. После Второй мировой войны в мире возникла такая неразбериха, что сейчас трудно вычленив одну четкую причину в отношении почти любого события. Но международная кооперация с тех времен сохранилась, возникнув параллельно с относительным миром на планете и бытовым благополучием, что четко совпало с тенденциями глобализации и властью финансового капитала, которые мы теперь относим к неолиберализму. Однако если вы склонны путать корреляцию с причинами, то знайте: существует теория, которая интуитивно и убедительно проводит между ними связь. У рыночной системы, скажем так, есть свои недостатки, но она высоко ценит безопасность и стабильность и при прочих равных условиях обеспечивает устойчивый экономический рост. В виде этого роста неолиберализм обещал нам награду за сотрудничество, эффективно преобразуя – по крайней мере в теории – то, что мы когда-то рассматривали как антагонизм, во взаимовыгодное сотрудничество.

Но по итогам финансового кризиса стало понятно, что исполнить эти обещания неолиберализм не сможет. Лозунги о постоянно растущем, вечно богатеющем обществе изобилия лишились смысла, а вместе с ними – и политическая экономия, ориентированная на ту же цель. Те, кто продолжает держаться за эту концепцию, уже чувствуют себя совсем не так уверенно, как лет десять или двадцать назад, – словно спортсмены, внезапно вышедшие на арену через много лет после пика карьеры. Но глобальное потепление готовит еще один удар, возможно, смертельный. Если Бангладеш затопит, а Россия останется в плюсе, конечный результат окажется весьма неприглядным для неолиберализма – и, возможно, еще хуже для либерального интернационализма, который

всегда был его верным соратником.

Каких тенденций в политике стоит ожидать после крушения надежды на постоянный рост? Перед нами открывается целый океан возможностей – например, новые торговые соглашения могут учитывать этические аспекты изменения климата и включать в себя экстренные меры по сокращению выбросов и санкции за «недостойное углеродное поведение»; возможно, появится новый глобальный законодательный режим, который дополнит или даже заменит собой главенствующий принцип защиты прав человека, доминировавший, по крайней мере в теории, с конца Второй мировой войны. Но неолиберализм держался на обещании взаимовыгодной кооперации во всех сферах, так что в голову сразу приходит естественный преемник – политика жесткого антагонизма. Чтобы понять, что нас ждет, не нужно заглядывать в будущее или верить, что на него повлияют изменения климата. Будущее уже наступило, и мы смотрим его трейлер – в виде трайбализма в США и национализма в других странах; терроризма, просачивающегося из трещин развалившихся государств. Осталось дожидаться, когда разразится серьезная буря.

Если неолиберализм – это некое высшее божество, не совладавшее с изменением климата, то каких младших богов оно породит после себя? Этот вопрос был рассмотрен Джеффом Манном и Джоелом Вайнрайтом в книге «Климатический левиафан: политическая теория нашего планетарного будущего»[110], где они пересмотрели идеи Томаса Гоббса[111], чтобы вычленили из них наиболее вероятную политическую систему, которая возникнет после кризиса потепления и его разрушительных последствий (82).

В своем «Левиафане»[112] Гоббс излагает вымышленную историю политического согласия, через которую он показывает так называемый общественный договор – люди жертвуют своей свободой в обмен на защиту, предлагаемую королем. Манн и Вайнрайт считают, что глобальное потепление предполагает нечто похожее для будущих авторитарных режимов. В мире новых опасностей граждане откажутся от свобод в обмен на безопасность, стабильность и относительную защищенность от климатической депривации, порождая новый тип суверенной власти для борьбы с форс-мажорными природными событиями. И эта новая власть будет не национальной, а планетарной – единственной силой, способной отвечать на глобальные угрозы.

Манн и Вайнрайт придерживаются левых взглядов, и в их книге встречаются призывы к активным действиям, но даже они с сожалением признают, что править планетой будет наверняка тот, кто уже стал одним из виновников изменения климата, то есть неолиберализм. Вернее, это будет даже некий постнеолиберализм, полноценное всемирное государство, обеспокоенное практически исключительно вопросами движения капитала – фиксация на этих проблемах едва ли поможет ему справиться с потрясениями от изменений климата, но при этом не поставит под угрозу его легитимность. Это и есть тот «Климатический Левиафан» из заголовка книги. Хотя авторы не считают его пришествие неизбежным, они рассматривают еще три возможные вариации государственного строя. Вместе четыре категории составляют матрицу климатического будущего, построенную на осях относительной веры в капитализм и уровня поддержки суверенитета национальных государств.

«Климатический Левиафан»[113] – это ячейка матрицы, определяемая позитивным отношением к капитализму и неблагоприятным прогнозом для национального суверенитета: капитализм стирает границы стран ради противостояния планетарному кризису, не забывая о защите своих интересов. Ситуацию, близкую к нынешней, они называют «Климатическим Бегемотом»[114]; она характеризуется равной поддержкой капитализма и суверенитета (в таких условиях капиталистические страны проводят бессистемную климатическую дипломатию).

Следующая ячейка матрицы носит название «Климатический Мао» – система с предположительно великодушными, но авторитарными и антикапиталистическими лидерами, которые реализуют свою власть в существующих сегодня границах стран.

В последнем квадранте матрицы находится международная система, негативно влияющая как на капитализм, так и на государственный суверенитет. Такая система будет позиционировать себя как гарант стабильности и безопасности, который обеспечит распределение ресурсов хотя бы на уровне прожиточного минимума, защитит человечество от климатических атак и будет разрешать конфликты, неизбежные в борьбе за все более ценные ресурсы: воду, еду и землю. Этот гарант полностью сотрет границы между странами – власть и суверенитет будут только у мирового правительства. Авторы называют этот сценарий «Климатический Икс» и возлагают на него большие надежды: глобальный альянс, действующий в интересах всего человечества, а не капитала или отдельных стран. Существует и более мрачная версия этого варианта развития событий – планетарная мафиозная диктатура и глобальное управление, основанное не на «модели добра», а на старом добром рэжете.

В теории все это возможно. Но уже сейчас у нас есть как минимум два «климатических Мао», правда, они немного недотягивают до архетипа: Си Цзиньпин и Владимир Путин – государственные капиталисты, а не антикапиталисты. Но их взгляды на перспективы климатического будущего и управление этим будущим сильно различаются, что добавляет еще одну переменную помимо формата государства: климатическую идеологию. Именно поэтому Ангела Меркель и Дональд Трамп, которые попадают в категорию «климатических бегемотов», как будто живут в двух разных мирах; впрочем, Германия не спешит отказываться от угольной промышленности, поэтому не стоит забывать: эти миры не так далеки друг от друга.

В случае с Китаем и Россией идеологический контраст намного отчетливее. Путин, будучи лидером нефтяного государства, которое в силу своего географического положения, возможно, только выиграет от продолжительного потепления, не видит никаких выгод в ограничении углеродных выбросов или «озеленении» экономики – ни в России, ни в мире. Си Цзиньпин, пожизненный председатель набирающей мощь сверхдержавы, как будто бы испытывает ответственность за рост благосостояния страны и за здоровье и безопасность своих граждан – которых у него, не будем забывать, очень много.

С приходом Трампа к власти Китай стал намного более благосклонен – хотя бы на словах – к «зеленой» энергетике. Но добрые намерения вовсе не означают, что они перейдут от слов к действиям. В 2018 году было опубликовано интересное исследование (83), в котором

сравнивалось экономическое воздействие от изменений климата страны с ее ответственностью за глобальное потепление, измеренное в объеме углеродных выбросов. В случае с Индией моральный аспект изменений климата выглядит весьма гротескно: ожидается, что эта страна пострадает от климатических перемен вдвое больше, чем следующая по списку, а доля климатических последствий вчетверо превысит ее климатическую вину. У Китая ситуация противоположная – климатические последствия вчетверо ниже климатической вины. К сожалению, это означает, что у Китая будет потенциальный соблазн спустить «зеленую» энергетику на тормозах. В США, по результатам исследования, установится хрупкий кармический баланс: климатический ущерб будет практически таким же, как доля глобальных выбросов. Но оба показателя будут катастрофическими; предполагается, что США займет второе место в мире по степени климатических последствий.

На протяжении десятилетий усиление Китая так часто и преждевременно превращали в пугающее пророчество, что жители Запада, особенно американцы, объяснимо привыкли считать эти опасения ложной тревогой. Из-за такой типично западной склонности подвергать все сомнениям люди стали воспринимать эти страхи как смутное предчувствие коллапса, а не обоснованное предсказание о том, какой будет новая сверхдержава и когда она возникнет. Но в вопросах изменения климата все козыри действительно на руках у Китая. С учетом того, что для дальнейшего существования и процветания миру нужен стабильный климат, судьбу человечества в первую очередь определяют углеродные тенденции развивающихся стран, а не США и Европы, где рост выбросов уже вышел на плато и, вероятно, скоро начнет снижаться – правда, неизвестно, насколько ли и как быстро это произойдет. Не будем забывать и про «углеродный аутсорсинг»: дело в том, что значительная часть углеродных выбросов Китая связана с производством товаров для американских и европейских потребителей. На кого возложить ответственность за эти гигатонны углерода? Вопрос может перестать быть риторическим, если в результате Парижского соглашения будет создана более жесткая структура глобального углеродного контроля – как это изначально и планировалось, с обязательным механизмом силового регулирования, например военного.

Как и насколько быстро Китай сможет осуществить переход к постиндустриальной экономике, «озеленит» свою промышленность, изменит подход к сельскому хозяйству и питанию, перестроит потребительские привычки своего растущего среднего класса в сторону менее углеродно-интенсивных – это одни из важнейших факторов, которые определяют климатический облик XXI столетия. Огромную роль сыграет курс, выбранный Индией и остальной Южной Азией, Нигерией и Африкой к югу от Сахары. Но из всех перечисленных стран на данный момент Китай – самое населенное, богатое и сильное государство. Со стратегией «Один пояс, один путь»^[115] страна уже взяла на себя роль основного поставщика не только товаров (84), но и в некоторых случаях промышленной инфраструктуры, энергии и транспорта для значительной части остального развивающегося мира. Несложно представить, что к концу «китайского столетия» сложится глобальное понимание того, что страна с крупнейшей в мире экономикой (и потому ответственная за энергетический след планеты) и наибольшей численностью населения (и потому в наибольшей степени ответственная за здоровье и благополучие человечества) должна предпринимать какие-то действительно серьезные меры в отношении климата – гораздо

серьезнее, чем сегодняшние узкие национальные политики развивающихся стран. И у этих стран не будет другого выбора, кроме как следовать примеру Китая.

Все эти сценарии, даже самые мрачные, предполагают некое новое политическое равновесие. Существует, разумеется, и перспектива потери равновесия – в этом случае нас ждут войны и хаос. Таковы результаты анализа, выполненного немецким социологом Харальдом Вельцером в книге «Климатические войны»[116]: он предсказывает «ренессанс» ожесточенных конфликтов в грядущие десятилетия (85). Подзаголовок книги звучит так: «За что людей будут убивать в XXI веке».

Уже сейчас в некоторых местах политический коллапс становится типичным следствием климатического кризиса – просто мы склонны называть это гражданскими войнами. И мы склонны анализировать их с позиций идеологии – как это было с Суданом, Сирией и Йеменом. Эти коллапсы, скорее всего, формально останутся «локальными» и не перерастут в «глобальные», хотя во времена климатического кризиса у них будет больше шансов дать метастазы за пределами государственных границ. Иными словами, до мира из «Безумного Макса»[117] нам еще далеко, поскольку даже катастрофические изменения климата не уничтожат все политические силы – на самом деле останутся даже условные победители. У некоторых из них будут большие армии и стремительно развивающиеся системы наблюдения за гражданами – уже сейчас в Китае с помощью технологии распознавания лиц преступников вылавливают даже на поп-концертах (86), а для слежки запускают мини-дронов (87), издавая неотличимых от птиц. И эта растущая империя вряд ли оставит без внимания нейтральные земли в зоне своей досягаемости.

Но кое-где сценарии, напоминающие «Безумного Макса», неизбежны. За последние десять лет на грани оказались Сомали, Ирак, Южный Судан, хотя порой геополитическая ситуация и казалась стабильной жителям Лос-Анджелеса или Лондона. Идея «глобального мирового порядка» всегда оставалась лишь фантазией или максимум мечтой, даже когда объединенные силы либерального интернационализма, глобализации и американской гегемонии потихоньку толкали нас в эту сторону в прошлом столетии. Скорее всего, в течение следующего столетия изменения климата обратят эту тенденцию вспять.

История после прогресса

Принцип линейного движения истории – один из мировоззренческих столпов современного Запада (88). Он пережил с некоторыми незначительными изменениями контраргументы прошедших столетий: геноциды и концлагеря, голод, эпидемии и войны с десятками миллионов жертв. Это мировоззрение так глубоко закрепилось в воображении политиков, что гротескное неравенство и несправедливость часто становятся не поводом усомниться в ходе истории, а напоминанием о его неизбежности: может, не стоит так переживать из-за этих проблем, все равно «история движется в верном направлении» и силы прогресса, продолжая метафору, находятся «на правильной стороне истории». А на какой стороне находится изменение климата?

Ни на какой – оно существует само по себе. В результате глобального потепления ничто хорошее в мире не станет доступнее. А вот перечень всего, что станет хуже, практически бесконечен. Уже сейчас, на начальном этапе экологического кризиса, появляется множество книг, наполненных глубоким скептицизмом: не только история может пойти в обратном направлении, но и весь проект человеческого расселения и цивилизации – который мы называем «историей», а именно он привел нас к изменению климата – на самом деле представляет собой стремительный регресс. И по мере ужесточения климата эти антипрогрессивные взгляды будут все больше распространяться.

Современные Кассандры[118] уже наготове. В книге «Сапиенс» (89), где развитие человеческой цивилизации рассматривается с отстраненной точки зрения, историк Юваль Ной Харари выдвигает теорию, что развитие лучше всего воспринимать как последовательность мифов, первый из которых рассказывает об изобретении земледелия – главного достижения прогресса во времена так называемой неолитической революции («Мы не одомашнили пшеницу. Она нас одомашнила», – верно подметил он). В книге «Против зерна»[119] ученый-политолог и антрополог анархии Джеймс Скотт приводит подробную критику этого периода (90): культивация пшеницы, утверждает он, привела к появлению того, что мы называем государственной властью, а вместе с ней – бюрократии, притеснений и неравенства. В средней школе нам рассказывали о сельскохозяйственной революции как о начале «настоящей» истории человечества. Современный человек существует около 200 тысяч лет, а сельское хозяйство – только 12 тысяч лет: с этой инновацией закончилась эпоха охоты и собирательства, появились города и политические системы, а вместе с ними и то, что мы привыкли считать «цивилизацией». И даже Джаред Даймонд в книге «Ружья, микробы и сталь»[120], где он рассматривает экологические и географические аспекты развития промышленного Запада и чью книгу «Коллапс»[121] можно считать предвестником новой волны ревизионизма, назвал неолитическую революцию «худшей ошибкой в истории человеческой расы» (91).

Этот аргумент даже не учитывает индустриализацию, ископаемое топливо или урон, который они угрожают нанести планете и хрупкой цивилизации, возникшей на ее поверхности. Вместо этого, говорит новый класс скептиков, обвинение против цивилизации можно построить на аргументах против сельского хозяйства: оседлая жизнь, появившаяся благодаря земледелию, в итоге привела к формированию более плотных поселений, но в течение следующей тысячи лет численность населения почти не увеличивалась и потенциальный рост от сельского хозяйства не состоялся из-за эпидемий и войн. И речь не о коротком мучительном эпизоде, через который люди вошли в новые изобильные времена, – нет, это сага о раздорах, продолжавшихся очень долгое время, по сути, до наших дней. В значительной части мира люди до сих пор остаются ниже ростом, болеют чаще и умирают раньше, чем наши предки, охотники-собиратели, которые, кстати, гораздо бережнее относились к планете, на которой мы все живем. И они хозяйничали на планете намного дольше нас – почти все 200 тысяч лет. То, что мы привыкли снисходительно называть «доисторическим» периодом, составляет около 95% всей истории человечества. Почти все это время люди перемещались по планете, но не наносили ей никакого заметного ущерба. Получается, что оставшиеся 5% – а это вся история цивилизации и вообще все, что мы привыкли называть «историей», – можно рассматривать не как неизбежный триумф, а скорее как аномальный всплеск. В свою очередь, период индустриализации и

экономического роста, давший нам ощущение моментального достижения материального прогресса, занимает еще меньше времени – эдакая мини-аномалия внутри аномалии. И именно эта мини-аномалия привела нас на грань климатической катастрофы.

Джеймс Скотт подходит к этому вопросу как радикальный антиэтатист. Ближе к концу своей карьеры он выдал ряд блестяще остроумных работ, ярко продемонстрировав свое академическое инакомыслие, среди которых «Искусство быть неподвластным»[122], «Доминирование и искусство сопротивления»[123] и «Анархия? Нет, но да!»[124]. Подход Харари немного странный, но более информативный – глубокий пересмотр нашей коллективной веры в прогресс, возведенной на пьедестал в разгар экологического кризиса, нами же и созданного. Харари, будучи гомосексуалом, очень вдохновенно пишет о том, как «каминг-аут» определил его скептицизм в отношении устоявшихся метанарративов человечества, таких как гетеросексуальность и прогресс. По образованию Харари – военный историк, но признания он добился как своего рода разоблачитель мифов с подачи Билла Гейтса, Барака Обамы и Марка Цукерберга. Его главное разоблачение состоит в следующем: общество всегда объединяется вокруг коллективного вымысла, как сейчас, так и в прошлом; такие ценности, как прогресс и рационализм, занимают места, которые в прошлом удерживали религия и суеверия. Харари – историк, но его взгляды совмещают научный подход с философским скептицизмом, знакомым по работам столь противоположных ученых, как Дэвид Юм[125] и Джон Грей[126]. Сюда же можно причислить и ряд французских теоретиков, от Лиотара[127] до Фуко[128] и других.

«В последние десятилетия миром управляла доктрина, которую можно назвать „либеральной историей“», – написал Харари в 2016 году, за месяц до избрания Дональда Трампа (92), в эссе, где он одновременно предсказал президентство Трампа и обозначил, какие последствия оно будет иметь для коллективной веры людей в истеблишмент. «Это была простая и привлекательная история, но сейчас она гибнет, и пока нам нечем заполнить образовавшийся вакуум».

Если убрать из истории наше восприятие прогресса, то что останется?

Сейчас очень трудно (если вообще возможно) четко предсказать, чем закончится неопределенность вокруг глобального потепления – до какой степени мы позволим климату измениться и тем более в какой мере эти изменения повлияют на нас. Но необязательно дожидаться худшего варианта развития событий, чтобы ощутить потрясения, способные пошатнуть устоявшиеся представления о неизбежном улучшении жизни с течением времени. Эти потрясения, скорее всего, начнут происходить быстро: новые береговые линии на месте затонувших городов; дестабилизированные общества, отторгающие потоки беженцев в сопредельные государства, тоже уже не понаслышке знающие, что такое нехватка ресурсов; последние несколько столетий, воспринимаемые на Западе как линейный прогресс и рост благополучия, окажутся, напротив, прелюдией к массовым климатическим страданиям. Как именно мы станем воспринимать нашу историю в период изменений климата, зависит от того, удастся ли нам остановить эти изменения и до какой степени мы позволим им повлиять на основы нашей жизни. А пока возможные варианты проносятся у нас перед глазами, словно узоры в калейдоскопе.

Мы мало что знаем о том, как люди воспринимали свою историю до появления сельского хозяйства, государственности и «цивилизации», хотя рассуждения на эту тему были любимым занятием ранних философов, представлявших жизнь первобытных людей в диапазоне от «жестокой, кровавой и короткой» до идиллической, беззаботной и ничем не обремененной.

Существует и другая модель истории, цикличная: она знакома нам по календарю урожая, теории греческих стоиков о «мировом пожаре» (93) и китайскому «династическому циклу» (94). Позже она была взята на вооружение такими мыслителями, как Фридрих Ницше, который при всем своем телеологическом подходе рассматривал временные циклы как духовную метафору с ее «вечным возвращением» (95); Альберт Эйнштейн, который предполагал вариант «циклической» модели Вселенной; Артур Шлезингер, который рассматривал историю США как сменяющие друг друга периоды «общественных целей» и «частных интересов» (96); и Пол Майкл Кеннеди, в конце холодной войны осторожно выразивший свои взгляды (97) в книге «Взлеты и падения великих держав» [129]. Сейчас эта точка зрения еще популярна во многих странах, не так сильно затронутых индустриализацией, – или там, где ее последствия оказались не столь разрушительными. Возможно, современные американцы воспринимают историю как движение прогресса лишь потому (98), что мы выросли во времена ее имперского величия, так или иначе позаимствовав это мировоззрение у Британии соответствующего периода.

Но изменение климата вряд ли приведет к плавному или полному возврату к циклическому восприятию истории, по крайней мере в домодернистском понимании – отчасти потому, что в век, истерзанный потеплением, ни на какую плавность рассчитывать вообще не приходится. Наиболее вероятный исход будет весьма неприглядным, поскольку место телеологии как единой объединяющей концепции займут ничем не сдерживаемые противоречивые нарративы, которые, словно звери, выпущенные из клеток, разбегутся во все стороны. Но если планета дойдет до трех, четырех или пяти градусов потепления, то человечество забьется в конвульсиях такого масштаба – миллионы беженцев, вдвое больше войн, засух и голода, невозможность экономического роста на большей части планеты, – что ее обитателям будет сложно воспринимать недавнее прошлое как период прогресса или хотя бы как короткую фазу цикла. На деле же все обратится вспять.

Вероятность того, что наши внуки будут навечно обречены жить в руинах некогда благополучной и мирной цивилизации, кажется почти невообразимой с позиций современности, ведь мы до сих пор верим в пропаганду прогресса и улучшения жизни грядущих поколений. Но такое регулярно происходило в истории человечества задолго до начала индустриализации. Именно это пережили египтяне после вторжения «народов моря» и инки после прибытия Франсиско Писарро, жители Месопотамии после Аккадской империи и китайцы после династии Тан. С таким опытом пришлось столкнуться и населению Европы после падения Римской империи – знаменитого до степени карикатурности, в свою очередь породившей десятилетия споров. Но в нашем случае темные века наступят за время жизни одного поколения – достаточно быстро, чтобы помнить, обсуждать и обвинять.

Именно об этом говорят люди, называя изменение климата историческим возмездием. «Техногенная погода не создается прямо сейчас, – пишет Андреас Малм в своей книге „Чем

закончится эта буря“[130], где он убедительно рассуждает на тему политики во времена изменений климата. – Глобальное потепление – результат действий в прошлом».

Эта точная формулировка живо иллюстрирует масштаб и объем проблемы, которая кажется следствием векового сжигания углерода, породившего большую часть того, что мы привыкли считать удобствами современной жизни. В этом смысле изменение климата делает нас всех заложниками промышленной революции и предлагает «ограничительную» модель истории – когда ошибки прошлого мешают движению прогресса в настоящем. Климатический кризис – тоже результат ошибок прошлого, но не столь далекого. До какой степени он изменит мир наших внуков, решится не в Манчестере XIX века, а сейчас и в грядущие десятилетия.

Изменения климата собьют нас с толку и вынудят мчаться в неопределенное будущее – и, если мы ничего не предпримем, заведут настолько далеко, что мы едва ли сможем осознать масштаб происходящего. Это будет совсем не тот «технологический шок», который испытали обитатели Викторианской эпохи – впервые столкнувшись с ускоряющимся темпом прогресса, они были ошеломлены количеством изменений, произошедших за одну человеческую жизнь, – хотя сейчас мы и сами проходим через нечто подобное. Скорее, это будет больше похоже на благоговение, которое чувствуют натуралисты-естествоиспытатели, когда к ним приходит осознание всей глубины древности существования нашей планеты, – они называют это явление «глубоким временем».

Но изменение климата перевернет перспективу – вместо постоянства глубин времени оно принесет нам времена глубоких каскадов и беспорядочных изменений, настолько радикальных, что говорить о каком-либо постоянстве на планете будет просто нелепо. Курорты наподобие Майами-Бич, построенные всего лишь несколько десятилетий назад, исчезнут, равно как и многие военные объекты, возведенные по всему миру со времен Второй мировой для защиты благополучия тех, кто их создал. Такие старые города, как Амстердам, тоже находятся под угрозой затопления, и для их спасения уже нужно возводить уникальную инфраструктуру, которую не сможет себе позволить, например, Бангладеш для защиты своих храмов и деревень. Плодородные земли, столетиями производившие одни и те же сорта зерна или винограда, адаптируются – если повезет – к совершенно новым культурам; на Сицилии, житнице Древнего мира, фермеры уже переходят на выращивание тропических фруктов. Арктический лед, формировавшийся миллионами лет, растает и превратится в воду, что в буквальном смысле изменит облик планеты и перестроит торговые пути, на которых основана сама идея глобализации. А массовая миграция вынудит сообщества, исчисляющиеся миллионами – и даже десятками миллионов, – покинуть свои исконные земли, исчезнувшие навеки.

Как долго экосистемы Земли будут повержены в хаос и беспорядок, вызванные антропогенным изменением климата, зависит от того, как долго мы еще будем на этот климат влиять – и, возможно, от того, какую часть этих изменений нам удастся обратить вспять. Однако потепление до уровня, при котором полностью растают ледники и ледяные покровы, в результате чего уровень морей поднимется свыше ста метров, обещает спровоцировать нарастающие, радикальные изменения в масштабе, измеряемом не десятилетиями или столетиями и даже не тысячелетиями – миллионами лет. На фоне этих

сроков все время существования человеческой цивилизации покажется лишь кратким мигом, а изменение климата – вечностью.

Этика конца света

Города-близнецы Сан-Игнасио и Санта-Елена в Белизе расположены в 80 километрах от побережья на 76 метрах над уровнем моря, но климатолог-алармист Гай Макферсон переехал на ферму в окрестных джунглях вовсе не из-за страха воды. Он говорит, что другие напасти доберутся до него раньше; он уже не надеется пережить изменение климата и считает, что нам всем стоит последовать его примеру. В разговоре по скайпу он уверяет меня, что люди вымрут через десять лет; когда я спросил его подругу Полин, что она думает по этому поводу, она рассмеялась: «Я бы сказала – через десять месяцев». Это было в 2017 году.

Макферсон начал свою карьеру в области природоохранной биологии в Университете Аризоны, куда, как он упоминал несколько раз, его приняли на постоянную должность в 29 лет и где, по его словам, начиная с 1996 года за ним следило «глубинное государство»[131]; а в 2009-м его принудительно снял с должности новый глава кафедры. Тогда он уже осваивал участок в Нью-Мексико – который выбрал со своей бывшей женой – и в 2016 году переехал в джунгли Центральной Америки, чтобы жить с Полин и практиковать полиаморию на новом участке земли – Stardust Sanctuary Farm[132].

За последние десять лет Макферсон, в основном с помощью ютьюба, набрал себе некоторое количество последователей, как скромно выразился Билл Маккиббен. Сейчас Макферсон иногда путешествует, читая лекции на тему «Вымирание человечества в краткосрочной перспективе» (он гордится изобретением этой концепции и называет ее просто NTNE[133]); но он все чаще стал проводить семинары на тему того, как нам использовать знания о приближающемся конце света. Его семинары называются Only Love Remains[134] и предлагают нечто вроде секулярного миллениаризма, житейских уроков мудрости старого нью-эйджа. Метаурок состоит в следующем: мы должны сделать примерно такой же вывод из осознания неминуемости вымирания видов, какой, по мнению Далай-ламы, мы извлекаем из осознания неминуемости нашей собственной смерти, – а именно ценность сострадания, изумления и прежде всего – любви. Это не худшие ценности для построения этической модели, а если прищуриться, то можно почти разглядеть, как из них формируются основы гражданского общества. Но для тех, кто считает, что планета находится на грани кризиса и библейских катастроф, эти ценности – лишь предлог, чтобы избегать политики – и с ней, по возможности, вопросов климата – ради сомнительного гедонистического квиетизма[135].

Иными словами, Макферсон вплоть до усов производит впечатление типичного отщепенца, к которому легко отнестись с подозрением. Но почему? Мы так долго, десятилетиями, если не столетиями, приравнивали предсказания о коллапсе цивилизации или конце света к сумасшествию, а возникающие вокруг этих предсказаний сообщества называли сектами, что теперь не можем всерьез воспринимать подобные предупреждения – особенно когда паникеры сами отчаиваются что-либо исправить. У нас принято презирать тех, кто сдаётся раньше времени, но во времена потепления эта привычка долго не продержится. Если

климатический кризис будет разворачиваться согласно прогнозам, наши взгляды на предсказания конца света сильно изменятся – появятся новые секты, а их образ мышления проникнет в общепринятую культуру. Поскольку конец света вряд ли наступит, а наша цивилизация явно не настолько хрупкая, как полагает Макферсон, очевидная деградация планеты приведет к появлению новых подобных ему пророков, чьи предсказания неминуемого экологического апокалипсиса начнут казаться обоснованными многим разумным людям.

Произойдет это отчасти потому, что подобные пророчества не столь уж и безумны, даже сейчас. Если вы ищете гид по плохим новостям о климате, то сможете найти источники и похуже, чем сводная страница на сайте Макферсона (с пометкой: «Обновлено, вероятно, в последний раз 2 августа 2016 года»[136]). Она содержит 68 печатных страниц, состоящих из абзацев, щедро напичканных ссылками. В них можно найти неверно истолкованные пересказы серьезных исследований и ссылки на истерические неподписанные записи в блогах, подаваемые под видом «серьезной науки». Встречается и простое непонимание климатических обратных связей, которые могут накапливаться, но не «приумножаться», как уверяет Макферсон; обвинения умеренных климатических групп в политической ангажированности; соответствующие духу этой информационной свалки посты, ссылающиеся на наблюдения, уже признанные несостоятельными (к примеру, он очень переживает, что могут произойти одновременные «метановые отрывки» по всей планете, что специалисты признали невозможным около пяти лет назад). Но даже в его паническом списке литературы содержится достаточно настоящей науки, чтобы забеспокоиться: хорошее изложение эффекта альбедо и убедительная подборка сведений о ситуации с арктическими льдами – своего рода кофейная гуща для предсказания климатических бедствий.

В целом у него параноидальный стиль подачи информации – огромный объем данных иногда заменяет, а иногда затмевает остов общепринятой логики, которая могла бы придать этим данным внятный аналитический характер. Такой тип мышления широко распространен в интернете; он питает процветающие в наше время теории заговора, которые только начали распространяться на ситуацию с климатом. Возможно, вы уже знаете, какие формы подобный тип мышления принимает у политиков, отрицающих изменение климата. Но он не обошел стороной и экомаргиналов, что можно наблюдать на примере Джона Би Маклемора – харизматичного, латентного климатического нигилиста и ненавидящего себя выходца из южных штатов, чья растущая склонность к суициду, вызванная паникой планетарного масштаба, была задокументирована в подкасте S-Town (99). «Иногда я называю это токсичными знаниями, – заявил Ричард Хейнберг из Post-Carbon Institute, где Маклемор работал комментатором. – Как только вы увидите данные о перенаселенности, перепроизводстве, истощении ресурсов, изменении климата и динамике социального коллапса, вы уже не сможете их развидеть, их тень нависнет над всеми вашими дальнейшими мыслями» (100).

Макферсон и сам не до конца понимает, как именно все эти факторы приведут к вымиранию, – он предполагает, что сначала в результате финансового или продовольственного кризиса рухнет цивилизация, а вслед за ней исчезнет и человечество. Конечно, нужно обладать апокалиптическим воображением, чтобы представить, что все это

произойдет в ближайшие десять лет. Но с учетом существующих тенденций возникает вопрос: почему мы все еще не мыслим в подобном апокалиптическом ключе?

Но мы начнем, и очень скоро. В таких персонажах, как Маклемор и Макферсон, – а точнее сказать, мужчинах, как и большинство им подобных, – можно уже увидеть саженцы великого расцвета климатической эзотерики; за ними – целый урожай писателей и философов, которые в своем предвкушении грядущих бедствий будут чуть ли не приветствовать наступление апокалипсиса.

В некоторых случаях они радуются ему вполне недвусмысленно. Немногие, как Маклемор, словно Трэвисы Биклы[137] климатического кризиса, надеются, что грянет буря, которая смоет с лица планеты мерзкое человечество. Другие, как Джем Бенделл, описывают крах цивилизации от потепления как практически неизбежный и трагический, но их речи тем не менее кажутся почти воодушевленными. Среди левых экологов и анархистов есть такие категоричные теоретики, как Джейсон Хикель, которые надеются, что изменение климата может заставить нас избавиться от зависимости от экономического роста любой ценой. Но существуют также и не в меру оптимистичные поклонники глобального потепления, такие как эколог Крис Д. Томас, считающий, что на самом деле в вакууме шестого массового вымирания природа будет процветать (101) – она создаст новые виды флоры и фауны и новые экологические ниши. Технологические гуру и их фанаты идут дальше, предполагая, что нам стоит отказаться от предубеждений по поводу настоящего – причем даже в геологическом понимании «настоящего» – и переключиться вместо этого на квазидаосистскую климатическую апатию с налетом футуризма. Шведская журналистка Торилл Корнфельдт в своей книге «Перепроисхождение видов»[138], рассказывающей о стремлении вернуть вымершие виды животных наподобие динозавров и мамонтов, задается вопросом: «Почему современная природа должна иметь большую ценность, чем природа, существовавшая десять тысяч лет назад, или те виды, что будут жить на Земле через десять тысяч лет?»

Но большинство из тех, кто осознает наступающий климатический кризис и интуитивно предвидит масштабные метаморфозы нашего мира, видят будущее довольно мрачным, формируя свои взгляды на базе непреходящих эсхатологических образов, взятых из таких апокалиптических текстов, как Откровения Иоанна Богослова[139], этого неизбывного источника западного страха перед концом света. На самом деле эти страхи – которые Уильям Йейтс в том или ином виде пересказал светской аудитории во «Втором пришествии» (102) – так глубоко проникли в западный менталитет, что стали чем-то вроде пропитанного гностицизмом фона нашей буржуазной внутренней жизни. Мы часто забываем: изначально они были написаны как пророчества, данные здесь и сейчас, видения грядущего, тех перемен, что произойдут с миром за жизнь одного поколения.

Пожалуй, наиболее выдающимся среди новых климатических гностиков является британский писатель Пол Кингснорт, сооснователь, публичное лицо и поэтический лауреат проекта Dark Mountain[140], разрозненного сообщества недовольных экоактивистов, позаимствовавших свое название у американского поэта Робинсона Джефферса, а конкретно из его стихотворения «Перевооружение»[141], написанного в 1935 году и заканчивающегося такими строками:

Я готов сжечь свою правую руку на спокойном огне,
Чтоб изменить грядущее... Я сделал бы это впустую . Красота
Современного
Человека
Не в личностях, но
В катастрофическом ритме тяжелых, но подвижных масс, в танце,
В котором во сне ведомые массы
Спускаются вниз по темному склону.

В свое время Джефферс был литературной знаменитостью Америки – о его любовных похождениях писали в Los Angeles Times, а его гранитный дом на побережье Калифорнии, состоявший из двух строений, «Дом Тора» и «Башня Ястреба»[142], которые он построил своими руками, был знаменит на всю страну. Но сегодня он известен в основном как пророк отречения от цивилизации и как родоначальник философии с недвусмысленным названием «антигуманизм» (103). Если пересказывать ее суть вкратце – человечество слишком заиклено на своих «людских» делах и своем месте в этом мире, а не на естественном величии нерукотворного космоса, частью которого оно является. И современный мир, считал он, значительно усугубил эту проблему.

Эдвард Эбби[143] обожал работы Джефферса, а Чарльз Буковски называл его своим любимым поэтом. Он также оказал влияние на Энселя Адамса и Эдварда Вестона – известных американских фотографов-натуралистов; а в книге «Светский век»[144] философ Чарльз Тейлор назвал Джефферса, наряду с Ницше и Кормаком Маккарти, значимой фигурой так называемого имманентного антигуманизма. В знаменитой поэме «Двойной топор» Джефферс вкладывает свое мировоззрение в уста единственного персонажа, «Антигуманиста», который говорит о «смещении фокуса и значимости от человека к не-человеку; отказе от человеческого солипсизма и признании постчеловеческого величия». По его словам, в перспективе такой подход может стать настоящей революцией, которая «вместо любви, ненависти и зависти предлагает в качестве нормы поведения умеренную отстраненность».

Эта отстраненность стала для проекта Dark Mountain ключевым принципом – хотя правильнее было бы назвать его «импульсом». И скорее всего, в ближайшие десятилетия он вдохновит еще больше подобных групп экологических отступников, если глобальное потепление сделает наблюдение за жизнью на Земле невыносимым, даже через СМИ. «Те, кто стал свидетелями экстремальных социальных катастроф, редко делятся откровениями о смысле человеческого существования, – гласит вступительная часть манифеста этой группы. – Гораздо чаще они выражают свое удивление относительно того, как легко может умереть человек. Течение обыденной жизни, в которой изо дня в день почти ничего не меняется, маскирует хрупкость нашего существования».

В этом манифесте Пола Кингснорта и Дугласа Хайна, впервые опубликованном в 2009 году, группа называет своим интеллектуальным крестным отцом Джозефа Конрада, в первую очередь за его острую критику эгоистичных иллюзий европейской цивилизации на пике ее промышленно-колониального развития. Они цитируют высказывания Бертрانا Рассела о Конраде, говоря, что автор «Сердца тьмы» и «Лорда Джима» «считал цивилизованную и

морально приемлемую жизнь людей опасной прогулкой по тонкой кромке едва застывшей лавы, которая в любой момент может проломиться и погрузить идущих в свои огненные пучины». Этот образ достаточно ярок, чтобы впечатлить жителей любой эпохи, но во времена приближающегося экологического коллапса он особенно актуален (104). «Мы считаем, что корень всех проблем лежит в историях, которые мы рассказываем самим себе», – пишут Кингснорт и Хайн, имея в виду «миф о прогрессе, миф о главенстве человека, миф о независимости от природы» (105). По их словам, все они «особенно опасны потому, что мы забыли, что они являются мифами».

На самом деле довольно трудно представить хоть что-то, что не подвергнется изменениям от одного только ожидания грядущих радикальных перемен – от пар, решающих, заводить ли им детей, до систем государственной поддержки. И необязательно дожидаться вымирания человечества или коллапса цивилизации, чтобы увидеть расцвет истинного нигилизма и апокалиптических настроений, – достаточно отойти на некоторое расстояние от того, к чему мы привыкли, чтобы критическая масса харизматичных пророков увидела надвигающуюся катастрофу. Можно успокаивать себя мыслью о том, что критическая масса должна быть очень большой и что человечество не погрузится в нигилизм до того момента, пока он не станет стандартным мировоззрением среднестатистического обывателя. Но предвкушение конца света работает и на периферии, пожирая инфраструктуру бытия, словно термиты или пчелы-плотники.

В 2012 году Кингснорт опубликовал в журнале Orion новый манифест, или псевдоманифест, под названием «Темная экология» (106). За это время он стал еще большим пессимистом. «Темная экология» начинается с эпиграфов Леонарда Коэна и Дэвида Лоуренса – «Возьми последнее оставшееся дерево / Заткни им дыру в своей культуре»[145] и «Отступи в пустыню и сражайся», – но по-настоящему разгоняется ко второму разделу, начинающемуся со слов: «В последнее время я читаю собрание сочинений Теодора Казински[146]. Боюсь, они могут изменить мою жизнь».

В целом это эссе, нашедшее широкий отклик среди читателей журнала, является чем-то вроде спора между Казински-публицистом и Казински-террористом – которого Кингснорт описывает не как нигилиста или пессимиста, а как пронизательного наблюдателя, чьей проблемой был избыток оптимизма; человека, слишком рьяно верившего, что общество может измениться. Позиция самого Кингснорта ближе к подлинному стоицизму. «Я спрашиваю себя: что на данный момент истории не стало бы для меня пустой тратой времени?»

На этот вопрос он предлагает пять возможных ответов. Ответы со второго по четвертый – это вариации на темы нового трансцендентализма: «сохранение не-человеческой жизни», «начать перемены с себя» и «отстаивать утверждение, что природа – это нечто большее, чем ценный ресурс». Первый и пятый более радикальны и идут в связке: «отречение» и «строительство убежищ». Последнее является скорее позитивным императивом хотя бы из-за своей конструктивности – или того, что может сойти за конструктивность во времена катастроф: «Способны ли вы думать и действовать, подобно библиотекарю средневекового монастыря, сохраняя старые книги, когда снаружи рождаются и гибнут империи?»

«Отречение» – это темная сторона того же назидания:

“ «Если вы так поступите, большинство людей назовут вас пораженцем или экологическим пессимистом или скажут, что вы „перегорели“. Вам будут объяснять, что вы обязаны трудиться на благо климатической справедливости, или мира во всем мире, или против всего плохого ради всего хорошего, и что „бороться“ всегда лучше, чем „сдаваться“. Не слушайте их и следуйте древней духовной традиции: отрекитесь от суеты. Отрекитесь не с цинизмом, а с пытливым умом. Отрекитесь, чтобы позволить себе спокойно существовать, и чувствуйте, ощущайте, работайте над пониманием того, что является правильным для вас и чем вы можете быть полезны природе. Отрекитесь, поскольку отказ в содействии прогрессу машин – отказ от дальнейшего усугубления суеты – это глубоко нравственная позиция. Отрекитесь, ибо действие не всегда лучше, чем бездействие. Отрекитесь, чтобы изучить свое мировоззрение: космологию, парадигму, предположения, направление развития. Все истинные изменения начинаются с отречения».

Как минимум это можно назвать четким моральным кредо, и весьма достойным. То, что поначалу можно воспринять как радикальную реакцию на новый кризис, на самом деле является адаптацией древней традиции аскезы – начиная от молодого Будды до святых столпников и далее. Но, в отличие от традиционной модели, в которой аскетический импульс уносит страждущего от удовольствий материального мира к духовному пониманию через некую мирскую боль, отречение Кингснорта, как и Макферсона, – это уход от мира, терзаемого духовными страданиями, к малым, вполне земным утешениям. Отчасти это масштабное проявление защитной реакции, общей почти для всех нас, в отношении страданий – проще говоря, мы их избегаем. Но до какого предела? Не может же быть такого, что я чувствую страдания других и ощущаю острую необходимость действовать только лишь из-за одного «мифа о цивилизации», правда?

Проект Dark Mountain маргинален. Гай Макферсон – маргинал. Как и Джон Маклемор. Но одной из угроз климатической катастрофы является то, что ростки их экологического нигилизма могут укорениться в общем менталитете человечества. И то, что эти предчувствия могут показаться вам знакомыми, – признак того, что фрагменты их паники и отчаяния уже начали проникать в мысли многих других людей о будущем нашего мира. В интернете климатический кризис привел к появлению так называемого экофашизма – движения, представители которого готовы добиваться своих целей «любыми средствами», не гнушаются расизмом и исповедуют идеи климатических приоритетов для определенных групп людей. Тем временем левые все больше проникаются идеями климатического авторитаризма Си Цзиньпина .

В Соединенных Штатах индивидуалистский импульс климатического сепаратизма в основном наблюдается у праворадикальных экстремистов – для примера можно взять семейство Кливена Банди[147] или любого надменного переселенца, которого эта страна простодушно мифологизировала столетиями со времен войн за земли и пастбища.

Возможно, в ответ на это либеральное экодвижение развивалось в более практичном направлении (за редкими экстремистскими исключениями), склоняясь к вовлечению людей в процесс, а не наоборот (107). Или, что тоже вероятно, в данном случае это произошло из-за конкретных требований ситуации: сформировать сообщество отрекшихся чреватой риском, что те, от кого вы отrekliсь, сделают все, чего вы так боялись, и обрекут на изменения планету, с которой вы не сможете сбежать.

Но этот прагматизм не лишен своих курьезов. К примеру, многие из самопровозглашенных технократов-практиков эколевоцентристского толка считают, что для предотвращения климатической катастрофы нужно провести глобальную мобилизацию уровня Второй мировой войны (108). И они правы – это совершенно трезвая оценка масштаба проблемы, и алармизма в ней не больше, чем в оценках МГЭИК от 2018 года. Но, даже учитывая ошеломляющий общественный отклик после публикации этого предложения, его амбициозность совершенно несовместима с существующими политическими тенденциями почти во всех регионах мира. И поэтому сложно не начать беспокоиться о том, что случится, если такой мобилизации не произойдет, – как с планетой, так и с политическими обязательствами тех, кто занимается решением этой проблемы. Те, кто призывает к немедленной мобилизации, понимают, что вдохновляют миллионы людей во всем мире выходить на марши, протесты и требовать перемен, – и их можно причислить к экопрагматикам. Слева от них находятся те, кто не видит никакого иного решения, кроме политической революции. Но даже этим активистам сегодня становится тесно среди многочисленных экотревожных текстов, к которым, возможно, можно отнести и книгу, которую вы сейчас читаете. И это будет вполне справедливо, поскольку я очень встревожен.

И я в этом не одинок. То, как общая обеспокоенность повлияет на наши этические импульсы по отношению друг к другу и на политику, которая сформируется из этих импульсов, – один из краеугольных вопросов изменения климата на нашей планете. Это, например, объясняет, почему калифорнийские активисты были так разочарованы в своем губернаторе Джерри Брауне – хотя перед уходом со своей должности он заложил сверхамбициозную программу стабилизации климата: он действовал недостаточно агрессивно для сокращения существующих углеродных мощностей. Это также объясняет разочарование в других политиках, от Джастина Трюдо, который, освоив модную климатическую лексику, одобрил прокладку нескольких новых нефтепроводов в Канаде, до Ангелы Меркель, которая всерьез взялась за расширение мощностей «зеленой» энергетики в Германии, но при этом так резко закрыла в стране атомные электростанции, что их пришлось замещать угольными – самыми грязными. Рядовым гражданам этих стран критика может показаться преувеличенной, но она основана на абсолютно трезвых расчетах: у нашего мира есть максимум тридцать лет для полного отказа от углеводородного сырья, прежде чем начнется по-настоящему разрушительный климатический кошмар. Для кризиса подобных масштабов полумеры не сработают.

Тем временем климатическая паника продолжает нарастать, а вместе с ней и чувство безысходности. За последние несколько лет по мере того, как беспрецедентные погодные явления и новые исследования добавляли все больше голосов в хор климатической паники, в среде климатических писателей-активистов разразилась серьезная терминологическая конкуренция, направленная на выработку новой понятной риторики – вроде «токсичных

знаний» Ричарда Хейнберга или «мальтузианской трагедии» Криса Барткуса – для придания эпистемологического измерения деморализуемой (или уже деморализованной) реакции остального мира. Климатическое безразличие, свойственное современным потребителям, активист-философ Венди Линн Ли назвала «экоцидизмом» (109). «Климатический нигилизм» Стюарта Паркера звучит понятнее (110). Бруно Латур, прирожденный бунтарь, назвал напасти бушующей природы, подпитываемые бездействием политиков, «климатическим режимом». Еще есть такие термины, как «климатический фатализм» и «экоцид», и то, что Сэм Крисс и Элли О’Хаган, работая над возражениями против неуверяющего общественного оптимизма в отношении стабильности климата (111), назвали термином «human futlitarianism» (112)[148]:

“ «Как оказалось, проблема состоит не в перенаселенности, а в недостатке человечности. Изменение климата и антропоцен – это триумф живых мертвецов, бездумное движение к вымиранию, но это лишь однобокая характеристика нашей истинной сущности. Здесь важнее политическая апатия: зомби не знают печали, и им точно не знакомо чувство беспомощности; они просто существуют. Политическая депрессия, по сути, характерна для существ, которым не позволено быть самими собой; при всей своей тяжести, при всей своей беспомощности это не что иное, как крик протеста. Да, впавшие в политическую депрессию чувствуют себя так, словно они не знают, как быть людьми; они подавлены отчаянием и неуверенностью в себе – и это важные шаги к осознанию. Если человечность – это способность предпринять осознанные действия в своем окружении, то, значит, мы не люди – или еще ими не стали».

Писатель Ричард Пауэрс предлагает другой термин для характеристики отчаяния – «одиночество вида» (113), которое он определяет не как впечатление от деградации природы, а как то, что вдохновляет нас – когда мы видим результат своего воздействия на планету – тем не менее продолжать движение вперед: «чувство, что мы предоставлены сами себе и нет другого выхода, кроме как доставлять себе удовольствие». Словно иницируя создание более умеренного варианта Dark Mountain, он предлагает уход от антропоцентризма вместо полного отречения от современной цивилизации: «Мы должны открыть глаза и отказаться от концепции исключительности человека. Вот настоящий вызов. Пока мы не начнем отождествлять здоровье лесов с нашим здоровьем, нашей основной мотивацией останется наш аппетит. Захватывающий вызов», говорит он, состоит в том, чтобы научить людей «осознанности в отношении растений».

Со всем своим амбициозным величием эти термины предлагают комплексный подход к новой философии и новой этике, возникающим в условиях нового мира. Недавняя лавина популярных книг стремится к той же цели, и их названия говорят сами за себя. Пожалуй, самую смелую работу написал Рой Скрэнтон – «Учимся умирать в антропоцене»[149]. В этой книге автор, ветеран войны в Ираке, пишет: «Главный вызов, который стоит перед нами, – философский: осознать, что наша цивилизация уже мертва». Его следующая книга, сборник эссе, называется «Мы обречены. Что дальше?»[150].

Все эти работы предрекают движение к апокалипсису – буквальному, культурному, политическому или этическому. Но возможно и даже вполне вероятно движение и в обратном направлении, особенно трагичном из-за его пугающей правдоподобности: сталкиваясь с конфликтами, мы поддаемся инстинктам и бежим в противоположном направлении – в сторону адаптации.

Это отчаянный крик, приглушенный обманчивой мягкостью термина «климатическая апатия», который в любой другой ситуации нес бы исключительно описательный характер. Через призывы к нативизму или через логику бюджетных реалий, через извращенное понятие «заслуженной кары», через уменьшение зоны охвата нашего соучастия или через банальное игнорирование, когда нам удобнее просто отвернуться от проблемы, мы изобретем новое безразличие. Если смотреть в будущее с высоты настоящего, когда планета потеплела на 1 °C, «двухградусный» мир кажется сущим кошмаром – а потепление на 3, 4, 5 °C или более видится и вовсе гротескным. Но есть способ, с помощью которого нам, возможно, удастся пройти этот путь, не впадая в коллективное отчаяние, – как ни странно, для этого нам придется нормализовать климатические страдания теми же темпами, которыми мы их ускоряем. За прошедшие столетия человечество испытало столько боли, что научилось смиряться с тем, что нас ждет в ближайшем будущем, и отрицать отдаленные перспективы. Мы забываем все, что когда-то говорили о моральной неприемлемости того мира, в котором теперь блаженно прозябаем.

Версия #1

Зверобой создал 25 апреля 2025 06:11:45

Зверобой обновил 25 апреля 2025 06:18:39